

**НОВЫЙ
Журнал**

137

**THE NEW
REVIEW**

STATEMENT OF OWNERSHIP, MANAGEMENT AND CIRCULATION

(Required by 39 U.S.C. 3685)

1. Title of Publication — The New Review. — A. Publication No. 596680
2. Date of Filing — [Sept. 28. 79.]
3. Frequency of issue — Quarterly. — A Number of issues published annually — 4
— B. Annual Subscription price \$24.

4. Location of known office of publication—2700 Broadway, New York, N.Y. 10025.

5. Location of the headquarters or general business offices of the publishers—2700 Broadway, New York, N.Y. 10025.

6. Names and complete addresses of publisher, editor and managing editor—
Publisher, The New Review Incorp. 2700 Broadway, New York, N.Y. 10025; Editor,
Roman Goul, 506 West 113-th Street, New York, N.Y. 10025.

7. Owner (If owned by a corporation, its name and address must be stated and also immediately thereunder the names and addresses of stockholders owning or holding 1 percent or more of total amount of stock. If not owned by a corporation, the names and addresses of the individual owners must be given. If owned by a partnership or other unincorporated firm, its name and address, as well as that of each individual must be given.)

The New Review Inc. — 2700 Broadway, New York, N. Y. 10026; Alexis Goldenweiser — president, 523 West 112-th Street, New York, N. Y. 10025. Zoya Yurieff secretary 46-04, 196-th Street, Flushing, N. Y. 11358. Peter Muraviev — treasurer 316 Monroe Ave. Wyckoff, N. J. 07481.

8. Known bondholders, mortgagees, and other security holders owning or holding 1 percent or more of total amount of bonds, mortgages or other securities.—None

9. For completion by nonprofit organizations authorized to mail at special rates (Section 132.122, Postal Manual).

The purpose, function, and nonprofit status of this organization and the exempt status for Federal income tax purposes.—Have not changed during preceding 12 months.

10. Extent and nature of circulation

	<i>Average No. copies each issue during preced- ing 12 months</i>	<i>Actual number copies of sin- gle issue pub- lished nearest to filing date</i>
A. Total No. copies printed (Net Press Run)	1400	1400
B. Paid circulation		
1. Sales through dealers and carriers, street vendors and counter sales	66	67
2. Mail Subscriptions	1175	1172
C. Total paid circulation	1241	1239
D. Free distribution by mail, carrier or other means, samples, complimentary, and other free copies	39	40
E. Total distribution (Sum of C and D)	1275	1333
F. Copies not distributed		
1. Office use, left over, unaccounted, spoiled after printing	120	121
2. Returns from news agents		
G. Total (Sum of E & F 1 and 2— should equal net press run shown in A)	1400	1400

11. I certify that the statements made by me above are correct and complete.
(Signature of editor, publisher, business manager, or owner)—Roman Goul, Ed.

12. For completion by publishers mailing at the regular rates (Section 132.121
Postal Service Manual).

Signature and Title of Editor, Publisher, Business Manager, or owner

Roman Goul, Editor

THE
NEW REVIEW
Новый Журнал

Основатели — М. Алданов и М. Цетлин — 1942

С 1946 по 1959 редактор М. Карпович

С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев

С 1966 до 1975 редактор Роман Гуль

*С 1975 по 1976 редакция: Р. Гуль (главный редактор),
Г. Андреев, Л. Ржевский*

Тридцать восьмой год издания

РЕДАКТОР: РОМАН ГУЛЬ
СЕКРЕТАРЬ РЕДАКЦИИ: ЗОЯ ЮРЬЕВА

NEW REVIEW. DECEMBER 1979

Quarterly № 137
2700 Broadway, New York, N. Y 10025
Subscription Price \$24 -- for one year
Publisher: New Review Inc.
Second Class Mail postage paid
at New York, N. Y

ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>Р. Гуль</i> — К друзьям и читателям	5
<i>А. Седых</i> — Судьба "Нового Журнала"	6
<i>Дж. Чивер</i> — Встреча	7
<i>А. Величковский</i> — Шансоньер	10
<i>Мих. Булгаков</i> — Торговый Ренессанс (публ. А. Райт)	13
<i>О. Анстей</i> — Стихи	19
<i>В. Вейдле</i> — Вдвоем друг без друга	21
<i>С. Войцеховский</i> — Стихи	39
<i>Ив. Елагин</i> — Стихи	40
<i>С. Голлербах</i> — Заметки художника	42
<i>М. Крепс</i> — Элементы модернизма в рассказах Бунина о любви	55
<i>О. Ильинский</i> — Антигона	67
<i>Р. Гуль</i> — Я унес Россию	69
<i>А. Корин</i> — Стихи	107

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:

<i>Ю. Карцов</i> — Хроника Распада (П. Столыпин и его система) ...	108
<i>Н. Бердяев об антропософии</i>	118
<i>Письма И. Бунина к Б. Зайцеву</i>	124

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:

<i>А. Федосеев</i> — Кто же президент Швейцарии?	142
<i>В. Пирожкова</i> — "Десятилетие утопистов"	154
<i>М. Агурский</i> — Зоотехник Барбу	166
<i>И. Маркадэ</i> — Икона как зеркало трисолнечного света православия	180

ПАМЯТИ УШЕДШИХ:

<i>Александра Львовна Толстая</i>	189
---	-----

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ:

А. Солженицын — Персидский трюк 195

БИБЛИОГРАФИЯ: *Т. Фесенко* — Проф. Ф. Богатырчук и его книга. *В. Завалишин* — Л. Ржевский. Дина. *Б. Прянишников* — Д. Голинков. Крушение антисоветского подполья в СССР. *Ю. Иваск* — А. Бахрах. Бунин в халате 197

К ДРУЗЬЯМ И ЧИТАТЕЛЯМ «НОВОГО ЖУРНАЛА»

В 1980-м году "Новый Журнал" должен вступить в 39-й год своего существования. Почти 40 лет. По длительности это рекордный срок для русского эмигрантского толстого журнала. За это время один раз, в 1959 году, редакция "Н. Ж." была вынуждена обратиться за материальной помощью к своим друзьям и читателям. Тогда друзья и читатели нас поддержали и нам удалось выправить тяжелое финансовое положение "Н.Ж.". Сейчас из-за необычайного вздорожания всего (почта, печать, бумага и пр.) мы вынуждены еще раз обратиться, как в 1959 году, с той же просьбой к друзьям и читателям. Помогите нам в это трудное время вашими пожертвованиями.

В 1959 году редактор "Н.Ж." М. М. Карпович в своем обращении писал: "Не мне судить о достоинствах и достижениях "Н.Ж.". Но если в нашей эмиграции есть достаточно людей, которые считают, что журнал для них важен и нужен, что он занимает какое-то определенное место в культурной жизни эмиграции и что его прекращение оставит в ней серьезный пробел — то я уверен, что они сделают все возможное, чтобы этого не допустить".

Через 20 лет я повторяю этот призыв к друзьям и читателям. Всем, кто откликнется на этот призыв, заранее приношу свою сердечную благодарность.

РОМАН ГУЛЬ

Список пожертвований в издательский фонд "Нового Журнала" будет опубликован. Чеки и почтовые переводы надо выписывать на The New Review и посылать по адресу "Нового Журнала":

The New Review
2700 Brodway, New York, N.Y. 10025

СУДЬБА «НОВОГО ЖУРНАЛА»

Все мы прочли в Новом Русском Слове обращение редактора "Нового Журнала" Р. Б. Гуля с просьбой о материальной поддержке этого старейшего "толстого" журнала за рубежом.

При сравнительно небольшом тираже "Новый Журнал", конечно, не может покрыть расходы по своему изданию. За последние годы невероятно поднялись цены на бумагу, набор, печатание, брошюровку. Расходы по рассылке журнала почтой увеличились за год в два раза. Вопрос ставится просто и ясно: или культурная часть эмиграции поддержит этот замечательный журнал своими пожертвованиями или журнал закроется и будущий — 137-й — номер окажется последним.

Но "Новый Журнал" не может прекратить свое существование. Все лучшее, что было когда-нибудь написано в нашей эмиграции, появилось на его страницах. Основали журнал в 1942 году М. Алданов и М. Цетлин (Амари). Тринадцать лет, до 1959 года единоличным редактором был проф. М. М. Карпович. Затем журнал начала редактировать коллегия: Р. Гуль, Ю. Денике и проф. Н. Тимашев... И еще много было перемен в редакции, участвовал в работе среди других проф. Л. Ржевский и, в конце концов, остался один Р. Б. Гуль.

Нелегко редактировать серьезный, весьма содержательный журнал и изыскивать одновременно средства для его издания. Знаю это по собственному опыту: трижды за историю Нового Русского Слова я вынужден был в трудную минуту обратиться к нашим отзывчивым читателям за помощью, и трижды читатели поддержали свою газету.

Нужно помочь и "Новому Журналу". Его 137 книжек — это памятник свободной, независимой мысли, это крепкая антикоммунистическая линия, негибкость духа эмиграции. Если когда-нибудь нас спросят, что ценного создала русская эмиграция, мы сможем с гордостью ответить: "Новый Журнал".

Не дадим ему умереть. Помощь должна прийти сейчас, немедленно. Пусть каждый даст, сколько может.

Лично от себя прилагаю чек.

АНДРЕЙ СЕДЫХ

ВСТРЕЧА

Последняя моя встреча с отцом была на Центральном вокзале. Я жил в Адирондакских горах у бабушки, а теперь ехал к матери на Кейп Код, где она сняла на лето дачу. Я написал отцу, что буду в Нью Йорке, в моём распоряжении будет полтора часа — между двумя поездами — и спросил, можем ли мы вместе позавтракать? Секретарша ответила: в полдень он будет ждать меня на вокзале у будки справок.

Ровно в двенадцать я увидел его в толпе. Отец был мне чужим человеком — мать развелась с ним три года назад, и с тех пор мы не виделись, но теперь, увидя его, я сразу почувствовал, что это мой отец, моя плоть и кровь, моё будущее и моя судьба. Я знал, что когда вырасту, буду похож на него; и когда начну строить свою жизнь, помехой будут его же недостатки.

Он был крупный, красивый мужчина, и я был ужасно счастлив, снова увидев его. Он похлопал меня по плечу и пожал руку.

”Здравствуй, Чарли, — сказал он, — здравствуй, сын. Мне хотелось бы повести тебя в мой клуб, но это в районе шестидесятых улиц, а если тебе надо поспеть к раннему поезду, то лучше будет позавтракать где-нибудь поблизости”. — Он обнял меня одной рукой, и я почувствовал запах отца: это была крепкая смесь виски, одеколона, башмачной мази, шерсти, и того особого запаха, присущего каждому зрелому мужчине. Я надеялся, что кто-нибудь увидит нас вдвоём. Мне хотелось,

Мы печатаем этот рассказ, в переводе Дж. Билер, с разрешения автора. Джон Чивер — выдающийся американский прозаик. За свои произведения он награжден Pulitzer Prize, MacDowell Medal, National Book Critics Circle Award. РЕД.

чтобы мы вместе оказались на фотографии, чтобы наша встреча была как-то увековечена.

Мы вышли из вокзала и пошли в ресторан на боковой улице. Было ещё рано, зала была пуста. Бармен ссорился с молодым рассыльным, а у дверей в кухню стоял старый кельнер в красной куртке. Мы уселись, и отец громко окликнул кельнера: "Kellner! Garçon! Cameriere! Эй, вы!". Его шумливость в пустом ресторане показалась неуместной.

"Мог бы кто-нибудь нами заняться?" — закричал он и хлопнул в ладоши. Это привлекло внимание кельнера, и тот, волоча ноги, подошёл к нам.

"Вы хлопали в ладоши, чтоб позвать меня?" — спросил он.

"Не волнуйтесь, не волнуйтесь, *sommelier*, — сказал отец, — я хочу попросить вас принести нам два бокала *Beefeater Gibsons*. Надеюсь, это не будет трудно и не выйдет из круга ваших обязанностей?"

"Я не люблю, когда хлопают в ладоши, чтоб позвать меня", — сказал кельнер.

"Мне бы надо было принести свисток, — сказал отец, — у меня есть такой свисток, его никто не может расслышать, кроме старых кельнеров. Так вот, выньте свой блокнотик и карандашик, и мы посмотрим, поняли ли вы меня сразу: два *Beefeater Gibsons*. Повторите за мной: два *Beefeater Gibsons*."

"Я думаю, вам надо отправиться в другое место", — спокойно сказал кельнер.

"Это, — сказал отец, — один из самых блестящих советов, какие мне когда-нибудь приходилось слышать. Ну, живо, Чарли, давай-ка поскорее двинем отсюда".

Я пошел за отцом в другой ресторан. На этот раз отец не был так шумлив. Нам принесли наши напитки, и он подверг меня допросу о бейсбольном сезоне. Потом он ударил ножом по краю своего пустого бокала и принялся опять кричать: "Garçon! Kellner! Cameriere! Эй, вы там! Можно ли вас побеспокоить и попросить еще два бокала того же самого!"

"Сколько лет мальчику?" — спросил кельнер.

"Это, — сказал отец, — чёрт побери, не ваше дело".

"Извините, сударь, но мальчику я этого напитка не подам".

"Ладно, — сказал отец, — я сделаю вам очень интересное

сообщение: этот ресторан — не единственный в Нью Йорке, тут за углом открылся другой. Идём, Чарли!”

Отец уплатил по счёту, и я пошел за ним в другой ресторан.

Здесь кельнеры были в розовых куртках, напоминающих охотничьи, и на стенах было развешено много принадлежностей для верховой езды. Мы уселись, и отец опять начал кричать.

”Эй, вы, специалист по охоте! Tallyhoо и всякое другое! Мы хотели бы кое-что заказать! А именно, два Bibson Geefeaters!”

”Два Bibson Geefeaters?” — переспросил кельнер, улыбаясь.

”Вы отлично знаете, что я хочу, — сердито сказал отец, — я хочу два Beefeater Gibsons, — и поторопитесь! Эх, добрая старая Англия уже не та, что в былое время, как говорит мой друг герцог. Посмотрим, как в Англии обстоит по части коктейлей”.

”Здесь не Англия”, — сказал кельнер.

”Вы со мной не спорьте, — ответил отец, — а просто делайте то, что вам сказано”.

”Я подумал, что вы хотите знать, где вы находитесь?” — проговорил кельнер.

”Вот этого я уж не выношу — иметь дело с нахальными кельнерами! — сказал отец. — Живо, Чарли, пойдём отсюда!”

Наш четвёртый ресторан оказался итальянским. ”Buon giorno,” — сказал отец. Per favore, possiamo avere due cocktail americani, forti, forti. Molto gin, poco vermut”.

”Я по-итальянски не говорю”, — ответил кельнер.

”Это вы бросьте, — сказал отец, — вы, чёрт возьми, отлично знаете итальянский.”

Кельнер отошёл от нас и поговорил с метрдотелем, который после этого подошёл к нашему столику и сказал: ”Извините, сударь, этот столик был заказан раньше”.

”Ладно, — сказал отец, — давайте нам другой”.

”Все столы заняты”, — ответил метрдотель.

”Понял, — сказал отец, — вы не желаете, чтоб мы были вашими клиентами, да? Ладно, идите ко всем чертам! Vada all' inferno! Пойдём, Чарли!”

”Я должен поспеть к поезду, папа,” — сказал я.

”Мне жаль, сынок, что так вышло, — проговорил отец, — мне очень жаль”. Он обнял меня одной рукой и прижал к себе.

”Я провожу тебя на вокзал. Просто беда, что не хватило времени, чтоб сходить в мой клуб”.

”Всё в порядке, папа”, проговорил я.

”Я куплю тебе газету, — сказал он — чтоб у тебя было что читать в вагоне”.

И подойдя к газетному киоску, он сказал: ”Любезнейший, будьте добры, не откажите вручить мне одну из ваших вредных, никому не нужных, десятицентовых вечерних газет”. Продавец отвернулся и принялся разглядывать обложку какого-то журнала.

”Боюсь, — продолжал отец, — что вам кажется трудно выполнить мою просьбу продать мне один из образцов скверной, жёлтой прессы”.

”Мне пора уже, папа, — сказал я, — уже поздно”.

”Сейчас, секунду, сынок, одну секунду, — проговорил отец, я хочу, чтоб этот малый вышел из себя”.

”До свиданья, папа”, — сказал я. Я спустился вниз по лестнице и поспел еще к своему поезду.

Это была моя последняя встреча с отцом.

Джон Чивер
перевод с английского
Джеммы Бидер

ШАНСОНЬЕР

”Видите? чтите ли —
Каков я нонь?
Захлопали зрители
Ладонь в ладонь.
”Видно птицу —
Не бездарен!
Как девица,
А, ведь парень!”

У милости — гости мы
Встреча, так встреча.
Уши наострены,
Подняты плечи.
Молчи галерка —
Что-б тебе! что-б!
Кто там без толка
Все — хлоп, да хлоп?
А милость — милостиво
Ждет тишины,
Ножкой игривой —
Бросает штаны.
Расхристан ворот
Слегка трепешет
На каблуках у него не шпоры,
Совсем не шпоры, брильянты блещут!
Он тоже жестом —
"Молчи, шпана,
Уж вашей лестью
Я сыт сполна".
Запели трубы,
Разжались губы.
Зубы — что сахар,
В голосе хрипы —
То ли от страха?
То ли от гриппа?
Гогот из пасти,
Из пасти брызги —
То ли от страсти?
То ли от визга?
Патлы — трясом,
В руке рупор —
Воет басом,
Как над трупом.
Сделал — глазки,
Подвывает,
Похоть пляской
Выражает.

Он вот эдак! да вот так! —
Крутит, как ему хочется!
Все равно ведь — в кабак —
Весь народ волочится.
А под самый конец
Ради неизбежности
Голос свой молодец
Подсахарил нежностью
Пустил ноту дрожащую
Патлами помотал,
К сердцу, как бы болящему,
Два пальца прижал.
Любите? Чтите ли?
При каждом поклоне —
Готовы зрители
Отбить ладони.
Ушел!.. и почтительный
По рядам шепоток
"Новый учитель,
Новый пророк".
"Если смерть его отнимет —
Как у нищего суму,
Вся общественность поднимет —
Вечный памятник ему!"
"Говорят — вращается —
В левейших кругах —
Там брильянты прощаются
На каблуках?"
"А как же! Портреты
В газете любой —
Женился на этой,
Разошелся — с той"
А светило—
Молодой певец,
Из машины вылез
И во дворец.

А. Величковский

БУЛГАКОВ И ЕГО ФЕЛЬЕТОН "ТОРГОВЫЙ РЕНЕССАНС"

ПУБЛИКАЦИЯ А. С. WRIGHT

"В этом письме посылаю тебе корреспонденцию "Торговый ренессанс". Я надеюсь, что ты не откажешь ... отправиться в любую из Киевских газет по твоему вкусу (предпочтительно большую ежедневную) и предложить ее срочно.

Результаты могут быть следующие: 1) ее не примут, 2) ее примут, 3) примут и заинтересуются. О первом случае говорить нечего. Если второе, получи по ставкам редакции гонорар и переведи его мне, удержав в свое пользование из него сумму, по твоему расчету необходимую тебе на почтовые и всякие иные расходы при корреспонденциях и делах со мной (полное твое усмотрение). Если же 3, предложи меня в качестве столичного корреспондента по каким угодно им вопросам, или же для подвального художественного фельетона о Москве. Пусть вышлют приглашение и аванс. Скажи им, что я завед. хроникой в "Вестнике"¹ профессиональный журналист. Если напечатают "Ренессанс", пришли *казанной* бандеролью два №"²

Так писал 13 января 1922 г. М. А. Булгаков из Москвы своей сестре Н. А. Земской в Киев, посылая ей рукопись фельетона. Результат, поскольку нам известно, был первый: "Торговый ренессанс" не приняли, и хотя о его существовании уже давно известно (Вл. Лакшин упоминает

1. Еженедельная газета "Торгово-промышленный вестник", которой вышло 6 номеров в 1921 и 1922 годах. В этом же письме Булгаков сообщает сестре, что "Вестник" уже кончает свое существование.

2. "М. А. Булгаков. Письма к родным (1921-1922 гг.)" (Публикация Е. А. Земской). *Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка*, 35, № 5 (1976), стр. 463.

о нем в предисловии к *Избранной прозе* Булгакова 1966 года³), он печатается здесь впервые. Правда, он был предназначен для сборника фельетонов и рассказов Булгакова в 1954 году (первого тома собрания его сочинений составленного его вдовой Е. С. Булгаковой). Но такой сборник существует лишь в трех машинописных копиях и не поступил в печать⁴.

Когда Булгаков вернулся с Кавказа в Москву в сентябре 1921 г., ему предстоял один из тяжелейших периодов его жизни в течение нескольких лет он работал для разных газет и больше всего в редакции ежедневной газеты железнодорожников *Гудок*. В это время он пишет главным образом смешные фельетоны и короткие рассказы, дабы обеспечивать себе и жене средства на жизнь, работает и над более важной для него задачей, созданием первого своего романа *Белая гвардия*. "В Москве долго мучился, — писал он в своей автобиографии, — чтобы поддерживать существование, служил репортером и фельетонистом в газетах и возненавидел эти звания, лишённые отличий. Заодно возненавидел редакторов, ненавижу их и сейчас и буду ненавидеть до конца жизни⁵."

1921 год был началом Новой Экономической Политики, и Москва как будто возвращалась тогда к прежней "дореволюционной" жизни. Многие видели в этом отступление от принципов коммунизма, возвращение к обществу буржуазного типа. Хотя Булгаков не высказывал никакой любви к "нэпманам" ("Я со страхом глядел на их лики и испытывал дрожь при мысли, что они заполняют всю Москву, что у них в кармане золотые десятки, что они меня выбросят из моей комнаты, что они сильные, зубастые, злобные, с каменными сердцами"⁶), он

3. Вл. Я. Лакшин, "О прозе Михаила Булгакова и о нем самом", в М. А. Булгаков, *Избранная проза* (Москва. *Художественная литература*, 1966), стр. 9. Лакшин ошибочно пишет, что "Торговый ренессанс" был опубликован в *Накануне*.

4. М.А. Булгаков, "Сочинения. Том I-й. Фельетоны, очерки, рассказы 1922-1930 гг.", Москва, 1954; машинопись, подготовленная Е. С. Булгаковой. Институт русской литературы АН СССР (Пушкинский дом), фонд 369, № 257. В этот том вошли разные Фельетоны большей частью из *Накануне*, *Гудка* и *Голоса работника просвещения*.

5. *Советские писатели. Автобиографии*, III. Ред. Б. Я. Брайнина и А. Н. Дмитриева. Москва. Худож. литература, 1966, стр. 85.

6. М. Булгаков, *Ранняя неизданная проза*, сост. и пред. Ф. Левина. *Arbeiten und Texte zur Slavistik*, 12 (Munchen, Otto Sagner Verlag, 1976).

смотрел на новоразвивающуюся жизнь столицы с некоторой гордостью, восхищался резкой переменой бытовых условий. 17 ноября 1921 г. он пишет матери, что Москва "переходит к новой невиданной в ней давно уже жизни — яростной конкуренции, беготне, проявлению инициативы и т.д. Вне такой жизни жить нельзя, иначе погибнешь. В числе погибших быть не желаю..." Его *idée fixe*, продолжает он: "чтоб в 3 года восстановить норму — квартиру, одежду и книги". Тем не менее он смотрит на всё зорким глазом журналиста, и решает, что другим будет интересно читать о новой жизни в столице. Фельетон "Торговый ренессанс" имел для него громадное значение как первый шаг в новом направлении. Если в Киеве его не напечатали, зато русские эмигранты в Берлине заинтересовались такими "корреспонденциями": дальнейшие его попытки писать о современной ему жизни в Москве пользовались громадным успехом в берлинской "сменовеховской" газете *Накануне* — и тоже в самой Москве, где *Накануне* усердно читалась. Следовал целый ряд его описаний на тему о Москве во время НЭПа: "Москва краснокаменная", "Столица в блокноте", "Сорок сороков", "Под стеклянным небом", "Московские сцены", "Шансон д'этэ", "Золотистый город", "Москва 20-х годов" и другие.

"Торговый ренессанс", хотя и дает очень яркое представление о НЭПе, но является сам по себе довольно слабым произведением. В нем замечается много повторений слов и образов ("витрины", "окна", "огни", "магазины"), много избитых фраз. Булгаков, кажется, ограничивается списком всего, что можно видеть во вновь оживающем городе. Здесь пока еще проявляется только Булгаков-журналист. Однако эти же яркие образы не теряются, а повторяются в дальнейших, более удачных фельетонах 1922-1924 годов. Так, в "Москве краснокаменной" мы находим опять заметку о маршрутах трамвая и описание вывесок ("всё есть, кроме твердых знаков и ятей!"); в "Столице в блокноте" блеск огней в магазинах на Кузнецком и на Петровке (там же говорится тоже о "ренессансе"); в "Сорок сороков" и других рассказах магазины МПО и другие на Тверской, Мясницкой, Арбате, Петровке. Но эти фельетоны, в отличие от "Торгового ренессанса", содержат гораздо больше, чем только описание. На основе того же материала в них Булгаков включает и свою личную жизнь вместе с жизнью города, и фельетоны становятся живее, ярче. Другие становятся уже настоящими рас-

сказами.

Наконец Булгаков заработал достаточные средства, мог в 1925 г. покинуть свою должность в *Гудке* и начать писать самостоятельно. Его фельетоны это только первый шаг в начале его карьеры, но и этот шаг нам интересен.

A.C. Wright

ТОРГОВЫЙ РЕНЕССАНС

(МОСКВА В НАЧАЛЕ 1922-го ГОДА)

Для того, кто видел Москву всего каких-нибудь полгода назад, теперь она неузнаваема, настолько резко успела изменить ее новая экономическая политика (НЭП, по сокращению уже получившему право гражданства у москвичей).

Началось это постепенно... понемногу... То тут, то там стали отваливаться деревянные щиты, и из-под них глянули на свет, после долгого перерыва, запыленные и тусклые магазинные витрины. В глубине запущенных помещений загорелись лампочки, и при свете их зашевелилась жизнь: стали приколачивать, прибивать, чинить, распаковывать ящики и коробки с товарами. Вымытые витрины засияли. Вспыхнули сильные круглые лампы над выставками или узкие ослепительные трубки по бокам окон.

Трудно понять, из каких таинственных недр обнищавшая Москва ухитрилась извлечь товар, но она достала его и щедрой рукой вытряхнула за зеркальные витрины и разложила на полках.

Зашевелились Кузнецкий, Петровка, Неглинный, Лубянка, Мясницкая, Тверская, Арбат. Магазины стали расти, как грибы, окропленные живым дождем НЭПа... Государственные, кооперативные, артельные, частные... За кондитерскими, которые первые повсюду загорелись огнями, пошли галантерейные, гастрономические, писчебумажные, шляпные, парикмахерские, книжные, технические и, наконец, огромные универсальные.

На оголенные стены цветной волной полезли вывески с каждым днем всё больших размеров. Кое-где они сделаны на

скорую руку, иногда просто написаны на полотне, но рядом с ними появились постоянные по новому правописанию с яркими аршинными буквами. И прибиты они огромными прочными костылями.

Надолго, значит.

И старые погнувшиеся и облупленные железные листы среди них, как будто подтягиваются и оживают, и хилые твердые знаки так странно режут глаз.

Дальше, больше, шире...

Не узнать Москвы. Москва торгует.

На Кузнецком целый день кипит на обледеневших тротуарах толчея пешеходов, извозики едут вереницей и автомобили летят, хрипя сигналы.

За саженными цельными стеклами буйная гамма ярких красок: улыбаются раскрашенными лицами фигурки-игрушки артелей кустарей. Выше в быв. магазине Шанкса из огромных витрин тучей глядят дамские шляпы, чулки, ботинки, меха. Это один из универсальных магазинов Московского Потребительского Общества. Оно открыло восемь таких магазинов по всей Москве. На Петровке в сумеречные часы дня из окон на черные от народа тротуары льется непрерывный электрический свет. Блестят окна конфексионов. Сотни флаконов с лучшими заграничными духами, граненых, молочно-белых, желтых, разных причудливых форм и фасонов. Волны материй, груды галстуков, кружево, ряды коробок с пудрой. А вон — безжизненно-томно сияют раскрашенные лица манекенов, и на плечи их наброшены бесценные, по нынешним временам, палантины.

Ожили пассажи.

Громада Мюр и Мерилиза еще безмолвно и пусто чернеет своими огромными стеклами, но уже в нижнем этаже исчезли из витрины гигантские раскрашенные карикатуры на Нуланса и По, а из дверей выметают сор. И Москва знает уже, что в феврале здесь откроют универсальный магазин мосторга с 25 отделениями, и прежние директора Мюра войдут в его правление.

Кондитерские на каждом шагу. И целые дни и до закрытия они полны наролу. Полки завалены белым хлебом, калачами, французскими булками. Пирожные бесчисленными рядами

устилают прилавки. Всё это — чудовишных цен. Но цены в Москве давно уже никого не пугают, и сказочные, астрономические цифры миллионов (этого слова уже давно нет в Москве, оно окончательно вытеснено словом "лимон") пропускают за день блестящие неустанно шелкающие кассы. В быв. булочной Филиппова на Тверской, до потолка заваленной белым хлебом, тортами, пирожными, сухарями и баранками, стоят непрерывные хвосты.

Выставки гастрономических магазинов поражают своей роскошью. В них горы коробок с консервами, черная икра, семга, балык, копченая рыба, апельсины. И всегда у окон этих магазинов, как зачарованные, стоят прохожие и смотрят, не отрываясь, на деликатесы...

Все 34 гастрономических магазина М.П.О. и частные уже оповестили в объявлениях о том, что у них есть и русское и заграничное вино, и москвичи берут его нарасхват.

В конце ноября "Известия" в первый раз вышли с объявлениями, и теперь ими пестрят страницы всех газет и торговых бюллетеней. А самолеты авиационной группы "Воздушный флот" уже сделали первый опыт разброски объявлений над Москвой, и теперь открыт прием объявлений "с аэроплана". Строка такого объявления стоит 15 руб. на новые дензнаки.

Движение на улицах возрастает с каждым днем. Идут трамваи по маршрутам 3, 6, 7, 16, 17, А и Б, и извозчики во все стороны везут москвичей и бойко торгуются с ними:

— Пожалуйте, господин! Рублик без лишнего (100.000)! Со мной ездили!

У Метрополя, у Воскресенских ворот, у Страстного монастыря, всюду на перекрестках воздух звенит от гомона бесчисленных торговцев газетами, папиросами, тянучками, булками.

У Ильинских ворот стоят женщины с пирожками в две шеренги. А на Ильинке с серого здания с колоннами исчезла надпись "Горный совет" и повисла другая с огромными буквами "Биржа", и в нем идут биржевые собрания и проходят через маклеров миллиардные сделки.

До поздней ночи движется, покупает, продает, толчется в магазинах московский люд. Но и поздним вечером, когда

стрелки на освещенных уличных часах неуклонно ползут к полуночи, когда уже закрыты все магазины, все еще живет неугомонная Тверская.

И режут воздух крики мальчишек: — Ира рассыпная! Ява! Мурсал! — Окна бесчисленных кафе освещены и из них глухо слышится взвизгивание скрипок.

До поздней ночи шевелится, покупает и продает, ест и пьет за столиками народ, живущий в невиданном еще никогда торгово-красном Китай-Городе.

Москва 14/1 1922 г.

М. Булл

Мне венчаться тем венцом,

Обручаться тем кольцом...

ЖУКОВСКИЙ

Что маячишь за окном,
Что заглядываешь в дом,
 Девочка-плясунья?
Навья нежить, вихря дочь,
Что ты праздноуешь всю ночь
 В бури новолунья?

От тебя мне не уснуть,
Тяжко ветер лег на грудь,
 Тяжко ходят тучи.
Смертным венчиком трясешь,
Гробовым кольцом зовешь
 В дымный дом летучий.

Все я знаю наперед:
Стукнет ставень, охнет свод,
 Скрипнет дверь-колдунья.
Мне венчаться тем венцом,
Обручаться тем кольцом
 В бури новолунья.

СВИДАНЬЕ

Были двери на запоре
Ровно тридцать лет.
Свечку продали в притворе:
Вот к тебе билет.

Хмурый ты в гробу и хворый.
Не узнал меня.
Задвигает осень створы
Золотого дня.

Щедр сентябрь, и золот-золот,
С дымом по углам,
Будто осень варит солод
К свадебным столам.

Золот с дымкой голубою,
Золот и богат,
Так, как наш сентябрь с тобою
Тридцать лет назад.

*

Чуть — краем уст — вечернее служенье
Колеблется — как облако — как дым —
Как паутина по углам седым.
Вдруг — молния! Слепящее вторженье!

Во все углы, где мрак битком навален,
Врывается теням наперерез
Восьмого гласа царственный седален —
Труба зари: ПРЕСТАНИТЕ ОТ СЛЕЗ!

Ольга Анстей

ВДВОЕМ ДРУГ БЕЗ ДРУГА

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ВЕРОЧКИНА ЧЕРНАЯ ТЕТРАДЬ

Пишу для тебя и для себя. Больше ни для кого. Не солгу. Ничего не утаю. Вместо писем тебе, и вроде дневника. Две тетради отец мне подарил, шестнадцатилетней, в день рожденья. Чистыми остались. Другая — синяя. Начинаю с черной.

4 июля, 1924. — Андрик, ты видел: я жива. Знай, что и мысли у меня не было себя убить, хоть и свалилась бы я под колеса, если б Софья меня не подхватила. Мне только хотелось удержать твой образ в окне вагона, не дать ему исчезнуть, схватить руками. Андрик, он во мне. Соединился с тем — я тебе говорила — шесть лет назад, при первом расставании. Закрываю глаза, и предо мной, в окладе вагонного окна, нерукотворный твой образ. Икона. Ею ты не дашь мне умереть. Не бойся, с ума не сошла: не Христа, не святого, но глядишь ты на меня, грешницу Веру, с такой любовью, с такой скорбной, но и таким светом осиянной любовью... Где же Бог, где Христос, где святость святых, как не в таком сиянии любви?

5 июля. — Андрик, вернись. Без тебя, как без себя. Знаешь, у меня внутри осталась какая-то малюсенькая боль от нашего последнего объятия. Пусть остается, растет. Это — ты, весь ты. Она теперь — все мое счастье.

6 июля. — Ты в Париже. Я ведь там не бывала. Увидишь

Рукопись романа покойного В.В. Вейдле "Вдвоем друг без друга" осталась в черновиках. Мы печатаем последний отделанный отрывок ее, любезно присланный нам вдовой В.В. — Людмилой Викторовной, за что мы приносим ей нашу благодарность. РЕД.

маму, Сергея. Может, и Верочку встретишь — на Елисейских полях. Нет, еще я не тень. Маме, брату скажи: жива. Страстно — да, да, именно страстно — хочу умереть, но не умру. Подожди: звонок.

Дверь ходила отворять. Маша с Котиком вернулись. Покуда Котик бегал к Софье на кухню, Маша, обняв меня, так зарыдала, как будто только что ее бросил собственный несуществующий жених.

9 июля. — Котик чувствует смутно, Маша знает насквозь мое горе, Софья, спасши мне жизнь, вдвойне удочерила меня. Все они так нежны, так ласковы со мной... Да и Коля ласковей.

12 июля. — Андрик! Андрик! Я — твоя! Я вся, я только твоя. Боже мой! Зачем я тебя отпустила! Зачем под колеса не упала! Зачем не уехала с тобой!

20 июля. — Не могла и не могу писать. Ничего нет. О чем?

20 августа. — Всё не пишу. Едва живу. Не я. Другая за меня. Такая скучная, никчемная. Стараюсь, чтоб не заметили. Они все стараются, чтоб я думала, что не замечают. Все меня любят; ведь и Коля. За что? Я — кусок рогожи. Полено. Видела такое; плывет; Екатерининский канал.

21 августа, перед сном (со снотворным). — Села в тот самый трамвай. Доехала до твоего дома. Вошла во двор. Посмотрела на окна четвертого этажа. Там живут какие-то люди. Постояла. Ушла. Те шесть лет каждый год вспоминала, горевала, но искать тебя не ходила. Ты был далеко, но оттуда приходили вести, письма. Теперь ты нигде. Ищу.

Назад по Каменноостровскому шла пешком. Слышу трамвай нагоняет. Наш. Схватила за фонарный столб. О Котике вспыхнула мысль; меня удержала. Прогрохотал, миновал, а я все держалась за столб.

22 августа. — Под утро — сон: яблоко едим. Твой голос слышу: "Принести еще?" И до того мне захотелось тебя, что, в полубезумии я рычать стала, или стонать. Котика разбудила. "Мама, что с тобой?"

Не самка самца возжелала, а Верочка Андрика; но все ж не бесплотно, не бесполо. Иконе твоей, нерукотворной, бестелесной молюсь, чтоб не хотеть тебя, а только любить. Но жарко, Андрик, — горя, сгорая.

23 августа. — Когда к Любе уезжал, было ужасно, а все-таки легче. Надежда была. А теперь, не знаю даже почему, надежды нет. И тетрадь не помогает. Сейчас безумно целовала мертвую страничку, где моей рукой дважды имя твоё написано. И ведь ты тоже без меня мучишься. Знаю. Вот сейчас твою муку со страшной силой ощущаю. Не могу. Удавлюсь. Утоплюсь.

Маша плакала сегодня, на меня глядя.

15 декабря. — Молчала, молчала... А как жила, не знаю. Как столы и стулья. Никак. Деревянная Верочка. Все-таки Богу молясь. О тебе. Сквозь тебя.

7 января 1925. — Сегодня празднуем Рождество. А ты? Может быть, с мамой? Или один, на мансарде, в грязноватой гостинице Латинского квартала. Я так себе представляю. Тебе скучно. Ты думаешь о нас. Ты о листике твоём думаешь?

Коля надарил игрушек Котику. Софья индейку зажарила; с каштанами подала. Шепнула мне на кухне: "Это ведь французы так ее готовят. Вот бы я постаралась для Андрея Алексеича. А когда мы стали ее есть, Коля, совершенно неожиданно, поднял свой бокал, посмотрел на Котика и сказал: "Ну, а теперь выпьем за тех, кто в Париже, за бабушку, дядю Сережу, дядю Андрея". Котик был рад глотнуть глоточек. Маша была рада, что тебя помянули. И меня Коля тронул, тем более, что каким-то хмурым казался мне последние дни. От Любы никаких вестей.

8 января. — Коля сегодня не вернулся со службы. Дрожу. Листик твой дрожит.

9 января. — Колю вчера на службе арестовали. Сидит. Ни свиданий, ни передач. То же обвинение, что и год назад. Бегаем (я и Маша). Пытаемся узнать.

19 января. — "Расстрелян". Пристрелен в подвале тюрьмы. "Шпион". "Тайный агент Антанты". По-видимому, уже 16-го или 17-го. Так я его с Рождества и не видала. Вероятно, пытали. Перед тем, как убить, разрешили одну передачу. У нас почему-то обыска не произвели. Никого не допрашивали. Вообще не приходили. Андрик, помоги: придется сказать Котику.

20 января. — Придется сказать Котику.

21 января. — Сказала. Пыталась соврать, что умер в тюрьме от воспаления мозга. Не поверил. Все понял; ему еще нет девяти. Дернул изо всех сил обеими руками свои длинные кудри, чтобы

не заплакать. И не заплакал, не бросился мне на шею, а совсем, как взрослый, подошел, поцеловал мне руку и сказал: "Мама, мы теперь одни на свете, но я с тобой. Я буду учиться, а когда вырасту, служить, но не там, где папу убили. Я буду сильный, ты положишься на меня."

22 января, вечером. — Маша не может без слез на него смотреть. А он весь день вчера так и не плакал. Разве что немножко с Софьей на кухне, перед сном. Лихорадить его стало; она завернула его в свой серый платок. Ночью часто просыпался, не то кашлял, не то икал: рыдал без слез. Сегодня разыскал в чулане коробки от своей железной дороги — ты ее видел в лиловой комнате — уложил аккуратно паровоз, платформу, рельсы и все вагоны, а когда я пришла посмотреть, что он делает, возможно спокойнее сказал: "Мама, подари другому мальчику".

12 февраля, 1925. — Андрик, я приняла решение, ночью. Бог видит в какой муке. Не поеду к тебе. Буду воспитывать Котика здесь, как того хотел его отец. Колина смерть, и такая тем более, запрещает мне нарушить его волю. И ведь он погиб из-за меня. Если б я тебя не полюбила, у меня хватило бы силы вырвать у него согласие на отъезд со мной и с Котиком. Правда, он уже давно охладел ко мне, но ведь и это — частью — моя вина. С августа 18-го года я ему уже была не та жена что до того. Да и не хочу тебе привезти его сына и сесть с ним тебе на шею, особенно раз не могу родить тебе твоего. Не хэчу и денег брать у Сергея, став твоей женой, а сама что я заработаю? Тебе и на себя одного зарабатывать будет трудно, пока не станешь профессором, а кормя двоих тебе и труднее было бы им стать. Кроме того, переходить тайно границу делается все опасней. Жизнью Котика рисковать не смею. Погибнуть он может и здесь; отлично знаю; но с меньшим грехом на моей душе.

Из этого решения вытекает и другое. Дал бы только Бог мне сил и для него. Чтобы Котик получил образование здесь, как того желал его отец, я должна отречься от его отца, не взаправду, конечно, а на словах, на лживых словах. Но произнести их или написать, вот для этого, — Андрик, помоги — нужны мне силы. Составила две фразы. "Ничего не желаю иметь общего с понесшим заслуженную кару государственным

преступником Нератовым. Прошу вернуть мне и присвоить моему сыну девичью мою фамилию". Буду их повторять письменно и устно. Завтра начну беготню по всем инстанциям. Маша пойдет со мной.

Они все — лгуны. Все служат лжи. Все лгут самим себе, начальству и сослуживцам. Поэтому и я могу лгать им без греха. А если перед Колей это — грех, то ведь я грешу, чтобы выполнить его волю. Прости меня, Андрик, прости грязную твою Верочку. Я тебе до сумасшествия, до битья головой об стену, до иступления люблю.

25 февраля. — Вчера подбросили нам под дверь письмо из шведского консульства, копию письма Сергея с предложением устроить побег и страшной для меня припиской о том, что и ты — ты — меня ждешь. Маша и Софья уговаривали меня ехать одной, оставив им Котика, но готовы были и сами переходить с ним и со мной границу. Совещались ночью; Котик спал. Маша просидела до утра со мной в лиловой комнате. В заботе была только обо мне — и о тебе; ни секунды о себе. Умоляла меня ехать. А когда утром позвонил консул и я сказала ему — нет, она бросилась передо мной, когда я еще стояла у телефона, на колени, целовала мне руки, но вспомнив тут же о тебе, жалела тебя и горько плакала. Она как-то странно меня с тобой вместе любит; но тебя ведь не знает, тебя сквозь меня; но меня так сильно, что я за нее боюсь: всех поклонников отвадила, тех хотя бы, кто в Консерватории охотно бы за ней поволочились. Да и я ее люблю. Без нее мне бы тебя еще непереносимей не хватало. Что это я говорю?

Еще хуже мне было бы? Вероятно, но я себе этого и представить не могу. Это какие-то мои мозговые извилины, не спросясь меня, подумали. Ведь УТРОМ я все равно что примерзла к телефону: отойти не могла. Всё хотела консула вызвать, закричать: согласна, готова. Сердце мое оледенело. Думаешь, легко мне было, Андрик мой бедный, оторваться от тебя?

12 марта. — Теперь, вероятно, ты уже знаешь, что я не приеду. Больно тебе? Режу ножом, тупым, зазубренным ножом себя и тебя, тебя и себя. Я, я, ребрышко твое, я тебя мучаю.

Каких же еще загробных мук за любовь нашу нам страшиться, когда так она нас истязает тут, на земле?

23 марта. — Добилась. Отреклась от мужа. Опозорила его память. Теперь наш сын — сын Веры Комовской от прохожего молодца, которого звали Николай. Придется Котику все это объяснять осенью, когда он поступит в *si-devant* гимназию.

Все мне кажется, что кого-то зарезала. Рук не могу отмыть, как леди Макбет.

Мертвого зарезала. Ну, а сперва тебя и себя, живых.

Пасха. — Последние годы не говела. Нынче мы говеем все четверо. Исповедывалась в среду у старого доброго батюшки. Не знаю, совсем ли он меня понял, но эпитимьи не наложил. В четверг причащались. Была на двенадцати Евангельях, на Погребении. Была в субботу утром на литургии преждеосвященных даров. Какая дивная служба! А если соблюсти все, чему Церковь учит, и после заутрени еще и обедню простоять... С зажженными свечами. Какими мы все варварами были, когда отрывками удовлетворялись из великого целого этих служб. Но знаешь, подумала я, в пасхальную ночь, когда стояли мы в толпе — теперь-то нас много было — с зажженными свечами: это как в последнем действии "Хованщины", на костре самосожженцы. Поют, горят и сгорят в огне своих же свечей. А кругом — нехристи зубоскалят, гогочат, высовывают языки, с трудом воздерживаются от погрома. А невидимо для нас, вдалеке на Западе крещеный люд делишками занимается или развлекается, на нас и не поглядит, а если взглянет, тотчас плюнет и отвернется, думая, что мы не они, и что до нас им дела нет.

Я бы не прочь была сгореть. Я рада, что говела. Мне хорошо было в церкви. Я вся с теми, кто радостно поет "Христос Воскрес". Только вот не умею объяснить, не во сне ли все это, и живые ли мы все? Я не часто бывала в Маринском театре, но только две оперы за живое меня задели и теперь, как вспомню, еще больше задевают. Всего больше финалами своими, — под занавес. Вторая — "Китеж". Ведь Корсаков, Маша мне рассказала, в самом начале века начал над ней работать, а я ее, кажется еще до войны видела и слышала, и все таки подконец, во время литургии в потонувшем граде так разрыдалась, что Коля меня из ложи вывести хотел. Люба твоя будущая меня обняла, не пустила; у нее у самой были слезы на глазах. Скоро и конец пришел, раздались аплодисменты. Неясная мысль, что это о нас,

что Римский православной Руси — пусть всего лишь тепло, без огня православной — столь блаженную смерть напророчил, мысль эта мне лишь много позже в голову пришла: когда папа умер, когда государь и великий князь отреклись, когда "злые татарове" расправились со страной. (Это мне опять Маша объяснила, что свою бас-тубам порученную татарскую тему, из народной песни Римский заимствовал, где о татарах идет речь).

Вот стояли мы в церкви со свечами в пасхальную ночь — да и все равно когда: обедня ведь и сама по себе пасхальна — мальчик, девушка, две вдовы, и то казалось мне, что я вижу сон, то, что мы все четверо на том свете. Христос Воскресе, Андрик, любовь моя, жизнь моя! Ответь мне "Воистину!", ничей ответ твоего мне, Андрик, не заменит. Те трое сгореть не дадут, умереть не позволят. Но сам подумай: разве не лучше было бы сгореть.

15 мая. — Открытка от Любы из Архангельска. Она там с пятилетним Борей. Князь почему-то в Мурманске. По тону видно, что живется ей не легко. Не поручусь, чтобы нехристи над княгиней не измывались. Уж очень фамилия громкая, княжеская, декабристская, даже если о полном титуле забыть. Не совсем я еще одеревенела. Его и бедную сестричку мою мне жаль... И *страшно* мне за их обоих.

Насчет "нехристей" объяснить забыла. Это — Софьино словцо. Она как-то изрекла: "Господь наш Иисус Христос, Он и Бог, и человек. А у них нет ни Бога, ни человека: одни только ваши, да не наши. Этим они и нехристи".

4 июля. — Сегодня год. Маша боязливо глядит на меня с утра. Софья говорит, что руки ее помнят, как меня схватили. А мне перед тем, как с постели встать, вспомнилось, как я в объятьях твоим вилась, извивалась, стонала, и как ты был могуч, мой зверь.

Через год. Жива, живу, но ведь едва. Сама удивляюсь. А вот оказалось все наши бешенства помню, каждый ожог.

Баста! Страшная Верка, не смей. Конеч. Никакой нет и боли, давным-давно. Увы! Я ее так жадно берегла, так бережно любила.

21 августа. — Побоялась на Каменноостровский поехать. Андрик, я твоя. Андрик, я тебя люблю.

30 сентября. — Утром сегодня, в день наших с нею, и Софьиных и маминых именин, письмо из Мурманска от Любы. Прикончили светлейшего; точно так же, как Колю: пулей в затылок. За что? За то, что ваш, да не наш, по Софьиному изречению. Я его помню. Удивительно был добр, слегка неуклюж; Пьера Безухова напоминал.

Люба, видимо, хочет жить с нами. Я ей пишу, чтобы приезжала, но в Мурманске похлопотала бы насчет девичьей фамилии для себя и сына.

14 декабря. — Приехали! Мальчик ее прелестный. Сама Люба непохоже, чтобы убита была горем. Мы ей тщательно приготовили Колину комнату, бывшую ее, придав ей совершенно прежний вид. Это ее тронуло. Со всеми нами очень ласкова. Котиком восхищалась. Маша, которую она едва знала, очень ей понравилась. Когда Софью увидела, прослезилась; та тоже, и они долго целовались.

Перед сном, когда мы все, кроме детей, были в столовой, она сказала, что вернула себе, по моему совету, девичью фамилию и высказала надежду, что мы дружно будем жить вместе — "преинтересное" семейство: две незамужние сестры, каждая с сыном неизвестно от кого, но с ними невиннейшая юная пианисточка, *belle comme le jour* (Маша вспыхнула при этих словах), а для наблюдения за чистотою нравов почтеннейшая тетушка Софья Герасимовна, известный *cordon bleu* и обладательница серого платка, в который все поочереды кутаются, когда озябнут. "Что такое *cordon bleu* Софья, оказывается, знала ("еще старый барин этими словами меня хвалил"), а насчет *belle comme le jour* догадалась ("ну, красotka, мы это и без Любушки знали"). Потом к Любе подошла, "в плечико" ее поцеловала и ласково вымолвила: "Вдовушка наша бедная слезки свои от нас спрятала и в дом наш радость принесла".

15 декабря. — Люба и впрямь поможет нам, кажется, жить, такая в ней самой неиссякающая жажда жизни. Сегодня утром меня к себе позвала, покуда Котик и Боря гуляли с Машей. Смотрю, твой снимок от Буассона, в рамке красного дерева, стоит у нее на комодке. Очевидно и в Вологде, и в Архангельске, и в Мурманске побывал, а я-то накануне переснимок в кожаной

рамке в ящик моего комода спрятала. Заметив мой взгляд, Люба плечами пожала: "Ведь все-таки первый", а потом улыбнулась, подошла, обняла меня и поцеловала в губы долгим, долгим, нежным, совсем твоим, набожным каким-то поцелуем. Я отстранилась, покраснев до корней волос. Она поцеловала меня тихонько в лоб и сказала вполголоса: "Ну, теперь я все знаю, что хотела узнать. Небось Коля так не умел? Вот и меня ни Борис, ни Алексей — Царствие ему небесное, милый был человек — так меня не целовали." Я смутилась ужасно, хотела уйти, но она меня удержала, посадила на диван рядом с собой и сказала: "Ни о чем расспрашивать тебя не стану, скажи мне только одно: девочка твоя, что умерла едва родившись, от него?" Я кивнула головой. Она подумала немного, потом крепко меня обняла: "Боже мой, родная моя, не долго же ты с ним была". "Два дня, Люба, с перерывом в шесть лет". "И ты *так* его любишь, я же чувствую, тебе *так* тяжела разлука?" Я только голову опустила, не могла говорить. Тогда она руку мою взяла, погладила, нежно поцеловала и сказала: — "Верочка, я была бы счастлива, если бы ты была счастлива с ним. Мы будем издали вместе его любить, и убей меня Бог, если я когда-нибудь, сестричка моя, тебя обижу".

Мы посидели, обнявшись. Потом я пошла к себе, вынула было твой портрет из ящика, чтобы снова поставить его рядом с портретом Котика и Коли. Но нет, спрятала опять. Буду ночью одна на него смотреть. Буду по ночам одна тебя любить. Ну, а днем попробую и с Любой.

25 декабря. — Люба сюрприз нам сделала. Вчера появилась у нас елка со всеми украшениями. Вечером ее зажгли. Под елкой лежали для всех подарки в пакетах из пестрой бумаги, стянутых золотым шнурком. Она и себе подарок купила: совершенно такую же шелковую косынку, как и мне; шепнула: "Глянь-ка, Андрей, как приедет, свою первую от второй и не отличит; кому-то еще поцелуй его достанется". Но самый роскошный подарок Маша получила: деревенский шерстяной бурнус, северный, домашней работы, сливочно-белый с зеленым и красным шитьем; удивительно ей к лицу. Софье и детям тоже угодила на славу. И такая веселая была. Поучиться бы мне у нее.

Насчет елки объяснилась так: "Дважды будем Рождество

справлять. Первый раз вместе с мамой, Сережей и Андреем, а второй одновременно со всеми здешними хорошими людьми. Наших парижан забывать грешно. Сгинут нехристи, они вернуться, а мы тут, окажется, о них и не думали.” Не знаю, верит ли она во все это; не знаю, откуда взяла, что русские в Париже по новому стилю Рождество справляют; но все же вчера нам всем стало легче на душе. Непутевая она, жenuшка твоя, шалая, а я ее все-таки люблю, — как раз должно быть за то, что мне не хватает. И душа у нее не грубая. Тронула она меня сегодня утром, когда мы с ней вдвоем за кофейным столом остались. Прощенья у меня попросила за свою вчерашнюю шутку, насчет косынок.

— Отбивать его у тебя никогда бы я не стала, и отбить никогда бы не смогла. Той любовью, какую он тебя полюбил тогда — 21-го августа, неправда ли? — он меня никогда не любил, как и я его твоей, вот той самой, какую я и сейчас в тебе чувствую. Ты — глубже; нет во мне этой глубины. Не было бы и силы такую муку вынести, как твоя. Но вспомни, я ведь и Колю никогда у тебя не отбивала, хоть попробовать мне и хотелось, потому что всегда тебя любила. А теперь я все сделаю, чтобы жизнь твою облегчить и помочь тебе милого твоего Котика воспитать.

Я горячо поцеловала Любу, ничуть не кривя душой, но знаешь, злая Вера, та, что на снимке, который я тебе дала, она тут как тут. Люблю ее, родной и близкой ощущаю, но никогда ей этой тетради не покажу. Андрик, я твоя. Твоя и больше ничья.

22 января 1926. — С нового года Люба ”взялась за дело”, как она выражается. Со всей решимостью, ей свойственной. Котик с осени ходит в школу, но она считает, что для него и для Бори нам необходимо переехать в Москву. ”Детей надо учить в столице, тем более, что с нашей квартиры нас все равно выселят: уже пролетарской знатью полон дом”. Возобновила некоторые (не самые почтенные) знакомства, через них завела новые. Наших нынешних хозяев она хоть и презирает, но как-то небрезгливо. Сердца у нас разные; ее неспособно совсем очерстветь и для них. Даже и объясняется с ними отлично на их суконном языке, на каком в ”Правде” пишут неправду. ”Английскому нас с тобой мисс Иверс выучила, так отчего же

мне партийному не научиться? Оно и легче". И еще говаривает: "Есть среди них изверги, но в большинстве они бараны или попугаи. Ну что ж, барашек он сам по себе ведь не злой, да и попугаи бывают добрые. Скажешь иному: "попочка, попочка", он тебе на плечо и вспорхнет". Начала и в самом деле кого-то из них приручать, — вполне, кажется, успешно. Софья довольна. Стол наш улучшился. Кого именно и в каком ведомстве, не знаю и знать не хочу. Ходит на службу; возвращается только к вечеру.

18 марта. — Боре шесть лет. На редкость живой и сообразительный мальчик. Никогда не "отсутствует", как случается с Котиком; ни к чему себя не принуждает, опять-таки в отличие от Котика. Но учится очень охотно, без труда, точно играет. Объяснять не надо, понимает сразу и еще тебя поправит: то же самое скажет короче или точнее. Все замечает, во все пристально всматривается своими синими, как у Любы, глазами, но сталь у него в этой синеве, которой у Любы нет. Ей некогда. Я его учу языкам, Закону Божьему, истории; Маша всему остальному. Обе удивляемся его успехам.

7 апреля. — Ау! Андрик. Я сижу одна в лиловой комнате и слушаю сквозь две закрытых дверей, как Маша упражняется на нашем старом рояле, в гостиной. Только что пили кофе, Люба ушла. Софья прогуливает мальчиков. На дворе, в первый раз, совсем весна. Открывала форточку: тепло, прохладно, застенчиво-влажно. Андрик! Помнишь, как мы в зеркало смотрелись там, где Маша играет? Ты меня на руки взял, унес. Унеси меня к себе. Листик твой желтеет и сохнет.

15 мая. — Весна в этом году солнечная, теплая. Вероятно, последняя наша в Петербурге. Люба серьезно обдумывает переезд. Еще дальше мы с тобой разъедемся. Грустно. Была сегодня утром с мальчиками в Летнем саду. Прошлогодние листья шуршат под ногами. Я села на скамейку, сказала детям: "Побегайте". Не прошло и пяти минут, маленький бежит ко мне: "Тетя Верочка, тут хорошо; но играть нам не хочется. Мы лучше посидим с тобой." Взобрался на скамейку, сел рядом, положил свою ручку на мою руку и затих. Уставился в одну точку: думает; это постоянно с ним бывает. Доверие его ко мне непоколебимо, как будто он жил всегда со мной. А Котик сел с другой стороны и тихонько гладит мне другую руку. Сижу и думаю: пусть моя

жизнь кончена, но их-то еще ведь и не началась. Посидели; пошли домой. Не шалят: чинно идут впереди, рядом.

Когда поднялись по лестнице и я стала искать ключи, слышим: Маша играет на рояле. Дети просияли. Боря говорит: "Это Шуберт, она мне сказала, *die lustige Forelle*". По-немецки так произносит, как будто не из Мурманска к нам приехал, а с какого-нибудь Бодензее. Котик вполголоса: "Пианисточка наша". Я и сама растаяла, улыбнулась; но мешать ей никто из нас не пошел.

В любви я живу, Андрик, оттого и продолжаю жить.

2 июня. — Позвонили из консульства. Теплый женский голос сказал по-французски, что в Париже мама умерла. Бедненькая, родная. В тоске по дочерям. Люба плачет. Знаешь, мы обе похожи на нее, но когда она была молода, судя по снимкам, она лучше была и ее и меня. Ты должно быть хоронил ее, вместе с Сергеем. Я себя представила на кладбище с тобой, в трауре, с черной вуалью на лице. Мы стоим над могилой, ты меня держишь под руку, левую мою руку подносишь к губам. Нам обоим так грустно. Но и в грусти этой мы счастливы, что вдвоем.

Заказали панихиду. Люба: "Если б не капризы покойных наших мужей, мы были бы с мамой, она бы не умерла. А если... Мы бы за ней ходили. Мы закрыли бы ей глаза".

4 июля. — Два года. Маша пришла ко мне в комнату рано утром, когда Котик еще спал. Стала тихонько на колени у моего изголовья. Сказала: "Да хранит его Бог. Помолимся за него". Мы помолились и поплакали вместе.

Она действительно *belle comme le jour*. Ей двадцать лет.

21 августа. Не поехала на Каменноостровский. Испугалась, что не вернусь. Как это все *странно*. Сколько ни думай, не поймешь. Восемь лет разлуки. Два дня счастья. Восемь лет любви.

21 сентября. — Люба вернулась из Москвы, где пробыла две недели (по-моему не одна). Нашла нам квартиру: второй этаж деревянного дома на Арбате. По ее словам, прелесть. У каждого из нас своя комната, как здесь, у Котика тоже, для Бориса есть "запасная", у Софьи гораздо лучше, чем здесь. Большая столовая, где можно стол накрыть на 12 человек, продолженная,

под углом, поменьше диванной или гостиной. Просторная кухня, ванная, две уборных. Внизу, под нами архи-комблагонадежное большое семейство, к тому же малограмотное, заслоном для нас послужит, к дремоте склоняя недреманное око Чеки. К декабрю переедем. Немного мебели есть. Главную привезем отсюда.

Тут я удивилась, но Люба продолжала: ей предоставлен будет товарный вагон — для мебели, а для нас шесть мест в мягком. "Мой новый флёрт, а также босс — я у него секретаршей служу — инженер-путеец и важная у них шишка".

— А Машу ты спросила? Ты о ней подумала?

— Разве ты расставаться с ней собиралась? Я ей у нас большую комнату с балконом отвела, большую, чтоб рояль поместился, и с балконом, чтоб серенады ей пели какие-нибудь комсомольские женихи.

— Да ведь ей Консерваторию нужно кончать весной!

— Что ты говоришь! Забыла. Тогда мы всё отложим на полгода. Только шишка — то может оказаться не у дел. Но я с ней поговорю. Что-нибудь да устрою.

8 октября. — И действительно устроила. Расспросила Машу. Выяснила, что есть у нее на Васильевском острове какая-то тетя Муся (вдова покойного родного дяди), о которой я понятия не имела. Съездила к ней, сперва одна, потом с Машей. Она согласилась на шесть месяцев приютить племянницу у себя. После чего Маша мне сказала, что никогда не видала тетю Мусю такой ласковой и готовой к услугам, а Люба по секрету шепнула, что подкупила ее или, вежливее говоря, заплатила ей вперед за Машин "пенсион". Откуда взяла деньги? Я об этом ее не спросила.

2 ноября. — День мертвых. О них я думаю, покуда Люба хлопочет о живых. Бедный ее муж, и мой, от которых мы отrekliсь. Бедная наша мама. Ото всех них, от отца, который тут лежал на столе, от нас девочек, девушек, которых давно больше нет — Андрик, и от тебя, живого, мы уедем теперь "в глубь страны", "на восток". В кавычки я эти выражения ставлю, точно за решетку отодвигаю. Моя Россия и твоя — я ведь знаю — она не на востоке и не в глубине страны. Так, сбоку-припеку, как и начнут, пожалуй, лет через тридцать говорить нынешние младенцы, новые москвиты, выкинув на непонятный им Запад и

Медного Всадника и автора поэмы о нем, не-москвиты, хоть и родившегося в Москве.

Ты ведь никогда там не жил; а я никогда и не была. С тобой мне везде, положим, было бы тепло; а так я все-таки отдаляюсь еще больше от тебя, по великому безводью отплываю. Землю режет корабль, я стою на корме, в ночь гляжу и во мглу, кутаюсь в Софьин платок.

Представь себе, грустит и она: "в Питере родилась". Москвы не знает. "Нехристи там сидят в Кремле. Вот до нас скорей и доберутся". Но никаких деловых доводов у нас нет, чтобы оспаривать Любино решение. Она — общепризнанный наш командир. Это случилось само собой. И надо сказать правду: она несколько не злоупотребляет своей властью.

Хлопочет, себя не шадит. Обо всех поровну заботится. Вот пример: обменяла рояль в зеленой комнате на шесть кулей муки и два боченка масла, и ему взамен ухитрилась выволить из квартиры твоих родителей чудный твой маленький Бехштейн, да в придачу самые пружинистые и широкие диван и четыре кресла. Все это поедет в Москву. Рояль для Маши. Она в восторге; говорит, что никогда на таком инструменте не играла.

12 декабря. — С утра в Москве. Дом и в самом деле чудесный: не новый, но и не дряхлый, на вид прочный; да и садик у нас есть свой (у нижних жильцов — другой). Квартира просторная и уютная. Во всех комнатах — голландские печи, а в диванном углу столовой еще и камин. Мебель вся уже расставлена. Твой рояль в Машинной комнате, самой у нас нарядной. Ты, говорят, не только играл на нем — ну, скромно, сказала Люба, прибавив: "зато и аккомпанировать умел". Кому бы это? Но я не спросила. Все это мне было совершенно ново.

Она уже три дня как тут; Маша тогда уехала к тетушке, а мы с Софьей и двумя детьми ютились кое-как на Сергиевской, где, кроме трех кроватей, не осталось почти никакой мебели.

Маша плакала вчера, провожая нас. Мы все тоже, кроме Бори, который вместо этого выпросил ее, когда, в точности, она думает прибыть в Москву и, полминуты подумав, заявил, что ждать ее придется ровно 170 дней, что он будет отсчитывать их по десяткам "чтоб время скорей проходило". Мне ее страшно будет нехватать, — и тебя, еще страшней, чем всегда, в ее

отсутствие. Она меня любит, я все больше это чувствую, как могла бы любить тебя, а я, как ты мог бы ее полюбить. Смущает меня это, не нравится, но это так.

7 января, 1927. Утром. — Елку у нас зажигали и 24-го, и 25-го, и накануне нового года, и вчера, и сегодня зажгут. 24-го все опять получили от Любы подарки, и Маше она послала в Петербург итальянский, зеленый с белым, шелковый шарфик. Сказала: "К бурнусу подойдет, да и вообще ей зеленое всего больше к лицу. Ты не находишь?". Я кивнула головой — и поскорее отвернулась: вспыхнула. Этого еще не доставало! О, если бы ты был со мной, Андрик! Ничего бы этого не было.

Солнечно сейчас. Небо синее. Пойду пройдуся по морозу. 24 по Цельсию. Сколько здесь снегу! Сугробы! Я начинаю любить Москву. Софья уже вышла с детьми; я на рояле мелодию подбирала, "форельную", из Шуберта. Софья тоже согласна: Рождество здесь праздничнее, чем у нас. Вот бы Маше показать.

8 февраля. — Скучаю без нее. Письма ее — короткие, но невероятно пылкие. Сплошные объяснения в любви. Мне от них и сладко, и жутко. Ей скоро 21. Замуж пора. Жениха ей искать... Ох, нет. Андрик! Приезжай скорей! Возьми свою Верочку! Увези свою Верочку...

6 марта. — Звонил утром из шведского посольства его первый секретарь, бывший консул в Петербурге. Днем мы его с Любой приняли, отослав Софью гулять с детьми. Пожилой человек, отлично воспитанный и хорошо говорящий по-русски. Я больше молчала, страшно волнуясь. Говорила Люба.

Он спросил от имени Сергея, неужели мы и теперь, лишившись наших мужей, хотим оставаться в России? Если мы настолько разумны, что предпочитаем уехать, Сергей — хоть это и гораздо стало трудней — попытается устроить наш отъезд. Через Одессу, морским путем. С сыновьями, а также Машей и Софьей. Он очень настаивает, чтобы мы согласились. "Андрей Алексеевич Градовский присоединяется к нему и особо ту же просьбу обращает к Вере Иосифовне".

Я едва удержала рыданье, не могла произнести ни слова. Люба посмотрела на меня, сказала шведу, чтобы он подождал пять минут и увела меня в свою комнату.

— Верочка, ты бледна, как смерть. Хочешь ехать?

— Боюсь за Котика, — едва выговорила я.

— Хочешь, поезжай одна, оставь мне Котика. Я во всяком случае не поеду. Меня там по-настоящему не ждет никто. Ты — другое дело.

— Нет, если Котика и возьму, как я оставлю тебя и Машу.

— Ну, тогда я скажу ему, что мы не едем?

— Скажи. Пойди к нему. Меня ноги, боюсь, не понесут.

Через несколько минут я все-таки встала, пошла проститься с нашим гостем. Когда я входила в столовую, Люба его просила больше нас не посещать. Он встал, поцеловал ей руку; она премило, кокетливо даже улыбнулась. Потом подошел ко мне, поцеловал и мне руку, тихо сказал: "Если передумаете, известите меня, но как можно скорее". Люба, вместо меня, бодро ответила: "Не передумаем". Я проводила его до входной двери и когда затворила ее за ним, у меня было чувство, словно ты приходил, предложение мне делать, и я тебе отказала, выпроводила тебя.

10 февраля. 5 часов утра. — Не сплю вторую ночь. Ты в Париже меня ждешь, зовешь. Больно тебе без меня, как и мне без тебя. Ты тянешься ко мне всем существом, а я к тебе. И вот не еду. Говорю: нет. Теперь уж навсегда. Почему, почему!? Ведь все эти разумные соображения, опасения, грош им цена. Возьму Котика, повезу в Одессу, мышкой оттуда шмыгну, рыбкой приплыву к тебе. Ты меня обнимешь, косточек моих коснешься...

Ненавижу себя. Решиться не могу.

12 февраля. — Люба говорит: "Лица на тебе нет. Хочешь, позвоню в посольство, вызову его, и мы снарядим тебя в Париж, с Котиком или одну, что, конечно, дело облегчит". Я плачу. Сквозь слезы говорю: "Почему не ты? Он возьмет тебя опять. Он с тобой пять лет прожил, а со мной два дня". А она как заплачет сама! Обнимает меня, рыдает: "Верочка, сестричка моя, останься с нами".

Больно мне от ее слез; люблю и ее. И Котика, и Борю, и Софью. А всего страшней Машу. Почти как тебя. Или, верней сказать, как ты меня, когда я с тобой и всею собой ощущаю, что ты меня любишь.

— Март. Все равно какое число. — С ума схожу. Тетка ее пишет: Маша больна, 40 температура, бредит, меня зовет в бреду. Попрошу денег у Любы, хоть и очень мне это против

шерсти: своих совсем больше нет. Завтра утром буду там.

Слава Богу! Вот Люба. Посмотрела конверт: "Письмо шло три дня. Дура тетка. У нее есть телефон. Скряга! Сейчас позвоню, номер у меня есть". Позвонила. Оказалось — простая ангина. Жар уже спал. "Маша просит тебя к телефону".

— Верочка, радость моя! Я так счастлива слышать твой голос. Я уже здорова, вскочила бы сейчас тебя обнять. Только бы время скорей прошло! Люблю тебя! Целую, люблю, целую...

Люба все это слышала; покачала головой:

— Жениха ей надо сыскать. Влюблена в тебя, как кошка.

14 мая. — Жасмин цветет, который я так люблю, сирень зацветает. Весна здесь чувствуется куда сильнее, чем у нас. А нынче она на редкость рано началась. Сейчас уже в полном разгаре. Сижу одна в садике нашем, совсем несчастная, выброшенная из жизни, из весны, — а я ведь ее еще в собственном теле ощущаю. Зря. Тебя мне нужно, а тебя и нет. Сама виновата. Прогнала, уши заткнула, когда звал. Но кого же я жду, раз тебя ждать не могу? Машу. Еще месяц. Свихнулась! Дикая мысль во мне ползает, что тоскую без нее, как ты без меня. А она, как я без тебя. Но разве я — ты? Я — не ты, я — твоя.

1 июня. — К тебе взываю, о тебе думаю. А жду ее. 11-го — экзамен. Парадный концерт. Вероятно 12-го здесь.

12 июня. — Приехала! Утром встречала ее на вокзале. Светлее золота летучие ее волосы. Сияет счастьем. Слегка пополнела, или нет. Лишь закруглилась до конца в женственной своей прелести. Смотрит мне в глаза со смущающим меня восторгом. Говорит, что на экзамене-концерте играла плохо, слишком радовалась, что разлука наша кончена, что увидит меня. Диплом свой получит, но преподавателей разочаровала. Кончила не среди первых трех, а разве что восьмой или десятой.

Дома все ее поздравляли. Котик — ему одиннадцать — воскликнул: "Тетя Маша, ты совсем красавица стала! Мы тут все без тебя скучали, а теперь все радуемся. Маму я такой счастливой, кажется, никогда и не видал". Она смутилась, персиково покраснела и стала благодарить Любу за зеленый шарфик, который был у ней вокруг шеи, и который, в самом деле был ей до безумия к лицу. Люба ее целовала, ласково спрашивала, а на меня раза два взглянула (мне показалось, что и

Боря) с легонькой насмешечкой. Я ее и заслужила. "До безумия" это не к шарфу относится, а ко мне.

У тети Муси жилось Машеньке не легко. "Сухарь какой-то, рассказывала она, — и скаредна ужасно". Хорошо еще, что упражняться ей не мешала. Играла по шесть часов в день на прескверном старом пианино. Кормила ее тетка более чем экономно, так что она себе прикупала ситного и чайной колбасы. Да и дрова экономила. Холодно было в комнате, пока на дворе не потеплело, и ванну разрешалось брать лишь в две недели раз. "Вот уж сегодня в ванночке помоюсь на славу". "Петербургскую сажу смоешь", компетентно высказался Боря, и почему-то при этом взглянул не на нее, а на меня.

После кофе, мы свели ее в ее комнату, которой она долго восхищалась: высоким окном с круглым верхом, таким же закругленьем двери на балкон, чугунной решеткой балкона, пеньем птиц в деревьях за ним, светлой и праздничной обивкой мебели, подходящим к ней ковром, тем, как мы поставили рояль, тем, как он звучит, о чем себе тотчас напомнила, взяв на нем несколько аккордов. Бережно опустила после этого его крышку, прошептала твое имя, благодарно взглянула на Любу, и таким любовным взглядом на меня, что я тотчас потупила взор и до Любы вышла из комнаты. Не видела, как она уходила на службу. Пошла к себе. Наспех записала в тетрадь все это. Дверь в Машину комнату была заперта, не помню с какой стороны. Больше сегодня ничего не напишу. Жди до завтра, что-то случится. Я в большом волнении.

13 июня. — Вот и случилось. Ничего от тебя не утаю. Но без тебя и случилось. Я была тобой. Шальной Веркой была. Но Верочка плачет. Верочка тебя зовет и плачет.

Сейчас три пополудни. Весна за окном. В квартире тихо. Рядом, у себя Маша, я надеюсь, спит. Думает, что и я. Я не сплю. Пишу.

Вчера, после ужина, все рано разошлись по своим комнатам. Софья затопила печь в ванной. Маша долго там мылась, после нас всех. Я уже лежала в постели, когда услышала, что она вошла к себе и на ключ заперла свою дверь. Но была ведь и другая, прямо от меня к ней. Может быть, она ее давеча не заметила? Теперь я ее оставила приоткрытой. С постели видела,

что у нее зажегся свет. Сердце у меня билось, как не помню когда. Я встала с постели, и как была, в ночной тоненькой сорочке и ночных туфельках, по ковру подошла к двери, потушила у себя свет и неслышно вошла к ней. Она сидела на постели, под лампой с белым абажуром, в только-что развернутой (складки были видны) батистовой сорочке, в левой руке держала зеркало, а в правой гребень, которым расчесывала на ночь солнечные свои волосы. Увидев меня, она положила зеркало и гребень на ночной столик, нырнула под одеяло и с мольбой протянула ко мне руки:

— Верочка, любовь моя! И ждала я тебя и не смела жлать! Справиться с собой не могу, так сердце бьется. Иди сюда ко мне. Умоляю! На минутку. Чтобы я могла сказать тебе, как я страшно, до смерти тебя люблю. У-у-у твои глаза! Черные, бездонные... Они выпьют меня. Они меня сожгут... ..

В. Вейдле

РИО-де-ЖАНЕЙРО

Прощаясь с Рио,
Я вижу — белеет вдали
Песчаный пляж Копакабаны.
Объехал я многие, дивные страны,
Мой парус не раз рассекал океаны,
Но краше Рио
Нигде он не видел земли.

Прощаясь с Рио,
Я знаю, что сердце мое
Осталось здесь в плену счастливом
Над этим, как море, безбрежным заливом,
У этих холмов в их строю горделивом,
Под солнцем Рио,
Согревшим его бытие.

С.Л. Войцеховский

*

Мы весело жили, и мглу
Вечернюю мы не заметили,
А смерть где-нибудь на углу
Уже расставляет свидетелей.

И может быть тот нелюдим,
Сопящий над чашкой с мороженым,
Склонится над телом твоим,
У будки газетной положенным.

По виду суровый такой,
Взглянув на тебя озабоченно,
Махнет безнадежно рукой —
Что, дескать, с тобою покончено!

Пройдешь ты остаток пути,
Простишься ты с жизнью налаженной.
Ах, если бы с толком пройти
Вот эти последние сажени!...

Чтоб даром твой дух не угас
Среди обступающей темени,
Рискнул бы ты правду хоть раз
Сказать о себе и о времени,

Блеснул бы ты правдою той,
Что прячут от всех по обычаю,
Что смерти равна простотой
И смерти равна по величию.

*

Проснулся ночью — болит плечо.
Ну что же, значит — я жив еще.
От жизни больно, как от ушиба,
А все же Богу за жизнь спасибо.

Кому столицы, кому задворки,
А я остался в ночном Нью-Йорке.
Себя я вижу за стойкой в баре,
А за окошком — фонарь в угаре.

По виду скажут — бывалый малый,
Чуть-чуть сутулый, слегка усталый...
А сам себе я по всем приметам
Казался ветром, звездой, поэтом!...

Но только время — песок сыпучий.
Улегся ветер, звезда за тучей...
Да и с годами о всяком хламе
Устал я звездно звенеть стихами.

Ну, что же, — с болью, так, значит, с болью.
Уже свыкаюсь я с новой ролью,
И телогрейка мяся на вате,
И вечерами окно в закате.

И клён знакомый — совсем у дома,
И сад за домом, где все знакомо.
Все то же кресло стоит в гостиной.
Жизнь оказалась довольно длинной.

Иван Елагин

ЗАМЕТКИ ХУДОЖНИКА

ПУТЬ

“Скажите, какие цели и задачи вы ставите себе в вашей живописи?” — спросила меня одна дама. Такие вопросы меня всегда смущают. Чувствую, что надо откашляться и твердым голосом словесно начертать широкую панораму художественных замыслов, философски их обосновать и закончить какой-нибудь заветной мечтой-идеей значительного произведения, в котором я выражу свое кредо.

А у меня ничего подобного нет. Возможно, меня в свое время “испортили”. В студенческие годы мне пришлось прочесть записки немецкого скульптора Георга Кольбе, в которых есть такая фраза: “У искусства нет цели, а только путь”. Помню, сначала до меня это не дошло. Но потом, уразумев, я обрадовался и почувствовал, что как-то освободился. “Просто буду писать что люблю, без задач и целей! Как хорошо!” Конечно, радость была весьма преждевременной. Ведь “просто писать” совсем не легко, а задачи и цели так и маячат перед глазами. Даже хуже — они, как бельмо, как ни коси, а оно тут. В конце концов, художник все-таки от этого бельма может освободиться, и задачи и цели займут свое место, т.е. станут подсобниками, а не водителями художника. Ну, а все же для чего работает художник? Если искусство — только путь, то куда он ведет?

После лет и лет случайных размышлений (и не всегда об искусстве) я понял, что искусство, как и жизнь, должно иметь не цель, а смысл. Цель категория практическая, земная. Построить дом. Скопить деньги и купить участок земли.

Поехать в отпуск. В плане творческом и, если уместно употребить давно уже затасканное слово, в плане духовном — цели быть не может. А если она есть, то часто получается как-то нехорошо. Например, если человек поставил себе целью накопить в себе всяких добродетелей, сотворить столько добрых дел, чтобы с чемоданчиком, ими полным, без страха предстать перед Господом — то ведь в этом есть что-то не вяжущееся с самим смыслом добра. Смыслом. Вот то-то и оно. Смысл есть некое свободное служение определенным истинам, которые считаешь основой всего.

Смысл, думается, состоит также в необходимости контакта с окружающим миром. Контакт этот мотивирован как любовью, так и любознательностью. В основе заложено приятие мира, сознание, что ты — часть его. Он тебе близок, ты ему близок. "Всякое дыхание да хвалит Господа", сказано в Писании. Всякий художник да восхвалит мир в красоте его и уродстве, в жестокости и доброте.

Эта близость, даже интимность, по силе своей и глубине может сравниться только с полной физической и духовной близостью мужчины и женщины. Даже больше. В отношениях двух людей всегда есть преграды непонимаемости, жалости, сознательной лжи для того, чтобы оберечь близкого. В искусстве даже этого нет. О, лгать, конечно, можно, но тогда, как в кривом зеркале, отражается вся скверна художника. Какой громадный, сложный и великолепный этот путь искусства! Пожалуй, в нем есть что-то от странничества — но не с целью посетить Святые места или поклониться угодникам, а "просто так", во славу Господню.

МИРКИ ИСКУССТВА

Многоликий, но единый в своих устремлениях мир искусства перестал существовать. И не различные направления, не "измы" окончательно "добили" его ("измы", при всей их пестроте и многообразии, преследовали все же одну цель — раскрытие каких-то новых тайн окружающего нас мира и нашего собственного творческого я). Мир искусства развалился на мирки при гораздо более мирных и даже благополучных обстоя-

тельстввах, без драм непризнания, без мучительных поисков правды. Просто появилось в наше время много хороших, дельных и любящих искусство людей, которым процесс творчества приносил большое, глубокое и спокойное удовлетворение. Особых проблем и поисков не было. Была чистая радость творчества. Напишет художник пейзаж, натюрморт или (еще лучше) — абстракцию — и так рад, что хочется писать еще и еще. И, может быть, попробовать другую технику, другой мазок, другой материал. Попробовал — и опять хорошо вышло! Увлечшись этими радостными экспериментами, художник, по прошествии определенного времени, достигает даже известного стилистического совершенства, обретает свою художественную индивидуальность. И радующаяся публика восклицает: "А, это такой-то художник, типичный его стиль! Как хорошо, не правда ли? А та, другая картина — ну, это ясно художник А (или Б, В и т.д.). Яркий пример его творчества. Тоже очень хорошо!" В абстрактной живописи различие между творческими индивидуальностями еще яснее, проще и нагляднее: если это квадрат, то это — художник Икс. Если круги — художник Игрек. А полосы — художник Зет. Прогуливаясь по выставкам, публика явно насыщается многообразием представленных произведений искусства, полагая, что все они вместе образуют один большой, многогранный мир искусства. Только это не так. Не мир, а мирки искусства наполняют сейчас галереи и залы музеев. У каждого художника — свой мирок, своя точка зрения, своя сервировка и свой соус. Пожалуйста, откушайте! Как в хорошем буфете — вот тут сардинки, тут кисленькое, там — сладенькое, а вот там (осторожно) — с перчиком, не на всякий желудок. И действительно, попробовав все по порядку, насытился! И вкусно и разнообразно. И повара довольны и гости.

В чем же дело, могут спросить? Что в этом плохого? Ведь в нашем сложном современном мире так только и можно. Да, пожалуй. Но не лучше ли все же ковырять толщу мира в одном только месте, ища откровения, последней, конечной тайны? Что ж, видел и таких. Твердо убежденные в правоте своей, замороженные своей идеей, как искатели клада роют они и роют, но всё камни да песок идет, да обрубки корешков. Видно или не

той лопатой роют или не в том месте. Где же выход, где же правда? Ведь были же великие мастера, которые мирков не создавали, не вцеплялись остервенело в свою точку зрения, а просто творили, обнимая и познавая мир.

Обнимая мир. А у нас — или руки коротки или мир раздвинулся. Или то и другое.

Желая явственно себе это представить, раскрыл я свои руки и стал посредине ателье. (Жест — великая вещь, он помогает чувствам вылиться и обрести форму.) Но тут взглянул я вбок — а там зеркало — и увидел себя. Не то пугало изображаю, не то взлететь хочу, подобно Икару. Глупо. Или же... тащить крест искусства — надо недоумевать, разводить руками.

БОЛЬНИЧНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

О больницах уже много и хорошо написано. Прибавить трудно. Разве вот что: у Андерсена в сказках оживают по ночам игрушки, солдатики, мебель, всякие вещицы. У них своя вне-человеческая жизнь. То же происходит и в больницах. Только в человеческих телах. Это своего рода ночной шабаш болезней. Опухоли и наросты, испорченные сердечные клапаны и язвы, лишай и ушибы образуют свое злое братство и в ночной тиши зреют, лихорадят, болят и гноятся. Палаты — как закрытые камеры, в которых творятся преступления над человеческим телом. Лубянка тел. А днем все притихает и с тяжестью вспоминается ночная борьба с недугом. Одни выходят на свободу, другие остаются. Получают два, три года... жизни.

*

Мой больничный сосед ел за занавеской мороженое. Звучало это так, будто кто-то пробирается через болото, с трудом вытягивая ноги.

*

Как совместить красоту своих чувств с уродством своей внешности? Вот о чем рыдали и рыдают поколения и поколения внешностью не удавшихся людей. У животных этого раздвоения

нет. Самец и самка прекрасны собою как дополнения друг к другу, без вопросов и сравнений. Возможно, что последствия грехопадения суть не только смертность, стыд наготы своей и труд в поте лица, а и это самое раздвоение внутреннего мира и внешней оболочки. Его и несем как наказание.

*

Картина а ля Брейгель: бегут люди, и все они раненые. Впереди скачет некто без головы, правой рукой прихлопнув торчащий обрубок шеи. За ним трусит фигура, израненная дробью, вся в мелких дырочках. Доставалось ей со всех сторон, отовсюду и ото всех. Согнувшись пополам, несется человек, обеими руками схватившись за срамное место. Это его туда судьба двинула. Другой, наоборот, подпрыгивает, втягивая зад и спину, весь в страхе преследования и боли... Иной обхватил ноющий живот, или шишку на голове, или прикрывает горящие глаза, пылающий рот, губы, сверлящее ухо. Только один, равномерно вскидывая пятки и работая локтями, бежит целеустремленно и деловито. "Здоровяк, счастливчик!", шепчут по сторонам. Он слышит и улыбается и... батюшки! У него — ни зубов, ни языка!

В РЕСТОРАНЕ

Сидя в ресторане и рисуя исподтишка, я наполняюсь чужими жизнями. Какое наслаждение проводить пером линию профиля, слегка задерживаясь на горбинке носа и осторожно подчеркивая подбородок! Так ведь проходишь жизненный путь твоей тайно выбранной модели. "Вот как у нее сложился рот, вот как слегка выдвинулась вперед нижняя губа". Рисунок с натуры — это тайное, интимное общение с человеком, без его ведома. Поэтому-то хорошо рисуют главным образом душевно одинокие люди, ищущие близости и контакта, но не стадно-физического, не властно-агрессивного, а душевного, умного и молчаливого. Такими, думается, были Дега, Тулуз-Лотрек, Гойа.

Все люди в ресторанах становятся другими. Конечно, это — освещение, особый ресторанный уют, многое другое. Но дело

как раз в том и заключается, что в ресторане познаешь человека по-другому. Женщина в ресторане кажется красивее, интимнее и одновременно отвлеченнее. У старых мужчин появляется какое-то "ископаемое" выражение на лице, ящерное, доисторическое. Дети выглядят странно — производные от родителей тела, в уменьшенном и стилизованном виде. Обслуживающий персонал тоже рассматриваешь по-особому: лица не замечаешь, но зато детали так и прут. Вот морщинистые локти, вот ключицы торчат, обтянутые тонкой кожей, вот толстая спина в перехватах. А если и замечаешь лицо, то и здесь влаешься во второстепенные детали — бородавка на щеке, мелкие морщинки на верхней губе, тусклые сережки в ухе. Это — у женщин. А у мужчин-кельнеров всегда почему-то порочные лица, как у старых актеров, игроков и — иногда — у парикмахеров. Почему — не знаю. Впрочем, догадываюсь. Они об людей уж очень трутся. Сыпятся заказы, даются указания (... "но только не пережарьте. и тост без масла!"). Все это как мелкие камушки летит в лица ресторанный персонала. Вот и "обветриваются" лица.

Наблюдать влюбленные пары не интересно. Уж очень они насыщены чувствами, искусство же предпочитает известную статичность и завуалированность. Зато супружеские пары, любовники среднего возраста, старухи и старики и молоденькие девушки (но без парней) являют взору художника россыпи наблюдений, идей и находок. В ресторанах так часто обсуждаются происшествия личной жизни, принимаются решения, празднуются знаменательные даты, зарождаются или кончаются отношения. Все это освещает людей особым значительным светом, бросает особые тени и дает особые отражения.

РАНЧО АЛЛЕГРЕ

Так называется маленький доминиканский ресторанчик, куда зашел вечером поужинать. Несколько столиков, бар и смуглые девы за прилавком. Заказал креветки с рисом, жареные бананы и графинчик вина. Ем и наблюдаю. Бар — прямо напротив меня. Спинай ко мне восседает девица. Спина смуглая, голая, юбка цветастая. Копна темных волос падает на плечи. А плечи горят

оранжевым светом — от лампы и заката солнца. Спина — монумент, а лопатки играют при каждом движении рук. Пьет пиво и хохочет хриплым контральто, дергая головой и встряхивая волосами. В углу — семья. Туристы, сразу видно. Папа, мама и тощий сынишка. Что-то жуют. Вошел худой интеллигент в майке. Сел, заказал пиво. На челе — дума, выражение лица сложное. Минут через пять пришел другой и сел напротив. Жуют и говорят грустно и умно.

А смуглые девы хохочут, курят. Пришла еще одна, с мешком. Подсела и показывает обновку — прозрачную ночную рубашку. Приложила к груди, шевельнула плечами и залилась смехом. Ах, южные девушки! А двое интеллигентов ковыряют вилками салат и ведут умный и грустный разговор.

Потом пришел хозяин, с усиками и брюшком. Притащил мешок каких-то продуктов. Все девицы застрекотали, не то перессорились, не то обменялись мнениями. Скорее всего и то и другое. А всё вместе — жизнь. И девы, и туристы, и интеллигенты с салатами своими и умным разговором. И я — наблюдатель этой пестрой, такой близкой и такой иногда далекой (ах, какой далекой) жизни нашего странного, большого города. Все это просится на полотно (или бумагу). Но из всего надо извлечь квинтэссенцию, изобразить не в деталях, а в сущности, в больших и значительных формах-формулировках, за которыми угадываешь все остальное. Но как это сделать? Над этим и тружусь.

ДИКАРИ

Преподавателю живописи приходится выслушивать от студентов массу всяких вопросов и замечаний, как дурацких, так и довольно заковыристых. Однажды, молоденькая студентка, побывавшая только что на выставке искусства доисторических времен, спросила меня в глубоком раздумьи: "Скажите, как это может быть, что дикие, пещерные люди, не имевшие никакой культуры, люди, носившие шкуры и орудовавшие дубинами, могли увидеть и передать грациозный изгиб спины оленя? Могли нарисовать животное в правильной пропорции? Могли заметить даже тени? Ведь что же получается — искусство как будто

отделено от культуры, существует как бы само по себе! Для него не нужны ни знания, ни развитый ум! Это же ужасно!" Бедная девушка, видимо, почувствовала, что, занимаясь искусством, она идет по какой-то странной дороге, ведущей туда, где накопление знаний и духовного опыта не требуется. Зачем стараться, если дикарь, пошерный человек своей одной или двумя мозговыми извилинами понимал и мог передать пропорцию, ритм, изящество движения.

Я, конечно, ринулся объяснять. Да, пещерные рисунки очень хороши, но они еще не Сикстинская капелла, не картины Леонардо. Но сразу понял, что студентка, собственно, не об этом спрашивает. Глаз, глаз-то откуда у дикого человека? Художественность откуда? Неужели она может существовать в примитивном человеке? Попытался я объяснить, что, будучи с нашей точки зрения дикарями, пещерные люди имели в себе уже зачатки культуры. Ведь слово "культура" происходит от "культы". А культ у дикарей был, они умели молиться.

"Да, выли на луну, кувыркались перед солнцем, орали от страха при громе и молнии! Это культ, по-вашему! Нет, этим доисторические рисунки не объяснить!"

"Хорошо, хорошо, согласился я, все эти проявления религиозного ощущения природы были, конечно, примитивны, грубы, но вот наблюдать животных дикари умели".

"То-то я и говорю, — заметила студентка. — Дикари во всем — а в искусстве тонки и наблюдательны. Почему?"

"Вот потому-то и тонки, что к природе относились со вниманием, при всех страхах перед громом и молнией. Следовательно, тонкость как бы была дана от природы, человек поэтому и стал человеком, что в нем заложено многое изначала..."

Как-то косо посмотрела на меня студентка и по лицу ее видно было, что думает: "Ври, ври, ничего не объяснил, так как сам не знаешь". Я же решил про себя: "Удивляешься, милая, тому, что дикари рисовать умели (а ты — нет)? Что ж, удивляйся, всякое раздумье идет на пользу. Мне, во всяком случае, их умение вполне понятно".

И как только я это решил, меня вдруг охватило сомнение. Да так ли я уж точно знаю, почему умел пещерный человек так

хорошо рисовать? Ведь дикари же были эти пещерные люди! Эгоисты, убийцы. Женщин за волосы волокли к себе в логово! А тут — изяшный изгиб спины оленя, эстетика, художественность! И вот еще с "другого конца" вопрос: говорится, что у художника, мол, своя особая мораль, не мешанская, не буржуазная. Нашкодит, нахамит, но — талант-то какой! Следовательно, надо простить. Как говорят умные люди: — "я ему как человеку руки не подам, но перед талантом его снимаю шляпу!" Неужели и к пещерному человеку так подходить надо? Он тебя дубиной, ты его дубиной. Но при виде пещерных рисунков с вежливой улыбкой снимаешь шляпу.

Вечером выпил и заснул. И сон приснился — стоит прекрасный олень, подрагивающий золотистой шкурой. А поодаль волосатый дикарь чертит его профиль на камне и недобро на меня поглядывает. "Не мешай, троглодит!"

СТАРОСТЬ

Художнику нужно стареть. Ведь это — закон жизни. И глаз слабеет, и рука потеряла былую крепость. Это вполне естественно. Творчество художника проделывает кривую. Но если есть в нем характер и индивидуальность, то жизненный и творческий опыт возмещает и балансирует уходящие силы и произведения его, более слабые, чем в период его расцвета, тем не менее по-своему, по-старчески хороши и, главное, естественны. Мы слишком часто видим в современном искусстве, как хороший художник, найдя себя, сохраняет свое лицо неизменным, повторяя свои удачи и находки до бесконечности. Как плод, снятый с дерева в момент его зрелости, консервирует художник свое творчество, не давая ему переспеть. И получается вечная, но искусственная зрелость, которой уже не веришь. Так гримируют покойника, чтобы был "как живой".

Не то было раньше. Даже у мастеров недавнего прошлого наблюдалась естественная траектория творчества. Вот ранний Клод Монэ, вот его зрелый период, а вот его поздние работы. Многие уже слегка неряшливо и сбивчиво, но есть и своя мудрость, свои откровения, свои дерзновения, возможные только

в старости. Мы видим переход в иное психическое состояние. Так естественно и величественно заканчивается жизнь большого мастера. А из ныне живущих кто имеет мужество состариться? Дать своим работам свободу утратить молодой расцвет? Стоя сам на грани старости, я присматриваюсь к некоторым старческим лицам, — с любопытством, негодованием и отвращением. Что ни человек, то особая, индивидуальная вариация глупости, бестолковости, недовольства или детской плаксивости. Все потайные уголки души выворочены наружу. Не лица, а неприличия, выставленные напоказ шарахающейся публике. Да и то, что мы называем "неприличиями", то-есть зады и ненужные, никчемные уже "срамные места" выглядят все же достойнее. К ним возможно (и нужно) сострадание. Были в свое время крепки и упруги, любили и любимы были. Ну, а сейчас свое отслужили, сморщились, обвисли. Но скверного выражения не имеют, просто старое, дряблое тело. А старое лицо — вот где настоящее неприличие, настоящее заголение на публику отверстиями и волосатостями. И самому страшно к зеркалу подойти.

"И как это вы не замечаете красивых особой старческой красотой лиц, мудрых, добрых, ласковых?" — скажут мне с упреком. — "Конечно замечаю. Но дело-то все в том, что они — всего лишь поумневшие, сморщившиеся и обветренные молодые лица. Тем они и хороши. А как только начинает проглядывать "старость" — начинается полное "неприличие".

РАЗНОЕ

Бывает это только во время путешествий. Проснувшись утром, несколько секунд не можешь сообразить, где ты. Но какие-то иные, непривычные шумы и ощущения проясняют память и вдруг понимаешь: ты — в отеле, в таком-то городе, в такой-то стране. Все связи, обязанности, неотложные дела остались дома, за сотни и тысячи миль. И когда всё это уяснишь себе, то, в предвкушении интересного, полного новых впечатлений дня, остаешься лежать в кровати минут пять-десять. Ощущение собственного тела, разрозненные, медлительные мысли погружают тебя в состояние какого-то экзистенциального бдения. Думается обо всем и ни о чем в особенности. Ты и

сонлив и абсолютно бодр. Тело тяжело и невесомо. В душе настороженность и покой. Ты и счастлив и равнодушен. Но все время не оставляет тебя ощущение, что в эти странные минуты, ничего не делая и ни о чем не думая, ты переживаешь что-то очень важное, даже необходимое тебе. Ты "собираешь себя" и уясняешь свое положение — но вне времени, вне места, вне пространства, без каких-либо координат, кроме двух: вот — я, а вот — жизнь. Ничего не понять, но все ясно.

"Душевное тепло", "горячая любовь", "пылающие страсти"... Язык человеческий говорит нам о том, что на огне-тепле зиждется все существование наше. И от тепла мы и зародились. Всю историю человеческую можно рассматривать как громадные количества тепла, существовавшие в течение тысячелетий. Мы можем, следовательно, физически представить себе историю, как далека она бы ни была. Тепло-то ведь не меняется в сущности своей. Мне часто приходилось, думая о давно ушедших из жизни людях искусства, представлять себе их "тепловую сущность". Тут может быть и ровное тепло, и "волнистое", и щекочуще-обжигающее. К этому тепловому восприятию может присоединиться запах. Тепло воскрешает уснувшее обоняние. Древнее тепло воскрешает древние запахи. "Аромат Средневековья", например. Или — "тут пахнет Востоком". Или — "Возрождением тут и не пахнет". Всё обыденные и мало оригинальные выражения, но — верные. И мысленно можно заставить себя ощутить тепло и воспринять вызванный им запах. Теплом мы и воссоединяемся с прошлым — с ушедшим искусством, с умершим другом, с несуществующей (но жившей когда-то) женщиной. Люди, любящие историю, как бы греются у камина человеческих чувств, теплот. "Почитаю о древнем Египте, погреюсь".

*

Схватил мольберт как женщину за плечи и тряску: "Ответь, любимая, сволочь, жестокая, ненаглядная! Ах, да что там!" Швырнул кисти. Вот так всегда.

*

Смысл искусства еще и в том, что создаваемые художником образы имеют жизнь, то есть художник буквально "рожает" их, почти физически. Не в этом ли бессмертие? Впрочем, об этом уже много писалось. Все же, если заставить себя действительно вникнуть в эту мысль, как радостно и чисто становится на душе. Ведь оставляешь после себя часть своих чувств и устремлений. Но.. а что же с теми, кто не наделен творческим импульсом, кто просто жил? Неужели они так без следа и исчезают? Ведь грустно это и несправедливо.

А что если мы, творческие люди, за них творим? Их дело продолжаем? Как в свое время старцы молились за людей, так и мы рисуем, пишем, лепим — за других. Чтобы не забыты были чувства, страдания, радости и горести. А? Ведь неплохо тогда получается?

Не себя, дяденька, выражаешь ты, не свои чувствешки и страстишки, а за других выплакиваешь и выпиваешь! С этой радостной мыслью пошел спать. Но долго не мог заснуть — чувство ответственности беспокоило. Или где-то в подсознании понимал — заврался ты, батенька!

*

Сидя однажды поздним жарким вечером на скамейке в парке, я взглянул на ночное небо. Ни луны, ни звездочки. Темно и бархатно. Если прикрыть немного веки, то видна черная плоскость. Но в то же время не только знаешь, но и чувствуешь ее бездонную, всеобъемлющую глубину. Там где-то — бесконечность. Она и без движения и все время колышется, мерцает, оставаясь таинственно плоской и таинственно глубокой. Устав от пристального созерцания этой темноты, переводишь взгляд на освещенный фонарем тротуар. Но и тут двойное ощущение: прищурив глаза видишь оранжевый треугольник, острием уходящий вверх. Но в то же время это ведь перспектива убегающей вдаль дорожки, квартал за кварталом, с темными интервалами между фонарями, пока не исчезнет она в темноте дальних перекрестков.

Что же это? Плоскостная глубина? Глубинная плоскость? Парадокс? Может быть в этом-то и заложена одна из тайн искусства — не иллюзию глубины создать на плоскости, и не глубину

довести до плоского пятна (дескать, "упростил" и "привел к основному"). Нет, совместить и то и другое, сохранив плоскость предначертать глубину!

Скажут: глупо, за уши притянуто. Возражу: может быть формулировка моя и глупа, но мысль верная. А что сам этого в работах своих передать не умею, так ведь... Мотылек бьется о стекло, за которым свет. Мы же бьемся о полотно, за которым плоскость возможной бесконечной глубины.

*

Люблю округлости. Пошло? Ничуть. Во-первых, земля кругла. Год — круглый. Дурак — тоже круглый. И у Платона Каратаева все было кругло. Без круглого, без замкнутого круга, без круговорота ничего вообще ни на земле, ни в жизни нашей не было бы.

"А вы, может быть, и овалы любите?" — спросил кто-то ехидно.

"О, да, выпуклые овалы в особенности".

Сергей Голлербах

ТРИ РОЗЫ

Три геральдические розы
Цветут на перстне золотом.
В жестокий век холодной прозы
Три геральдические розы
Пылают огненным кустом.
Когда опасности и грозы
Поднимут бурю за мостом,
Нас оградят от их угрозы
Три геральдические розы
Своим невидимым щитом.

С.Л. Войцеховский

ЭЛЕМЕНТЫ МОДЕРНИЗМА В РАССКАЗАХ БУНИНА О ЛЮБВИ

Интерес Бунина к любовной теме возник чуть ли не в самом начале его творчества и с тех пор не оставлял его до конца жизни. Без преувеличения можно сказать, что тема любви — одна из центральных тем его рассказов. Материалом для данной работы послужили те бунинские рассказы о любви, в которых эта тема разработана наиболее оригинально. В то же время именно в этих рассказах наиболее ярко воплотился талант Бунина-модерниста. С первого взгляда отнесение Бунина к мастерам модернистской прозы может показаться странным и необычным, тем более, что сам Бунин в свойственной ему очень резкой форме отмежёвывался от современных ему модернистских течений русской и зарубежной литературы, а зачастую и зло высмеивал их. Тем не менее анализ его рассказов несомненно приводит нас именно к такой точке зрения. Но прежде всего мы считаем необходимым уточнить, что мы понимаем под терминами "модернизм" и "модернистский".

Модернизм, одно из сложнейших течений искусства двадцатого века, характеризуется необычайно большим разбросом возможностей воплощения художественного произведения, начиная от еле заметных отклонений от реализма до полного отрицания последнего. Модернизм, таким образом, как бы располагается в пространстве в виде некой геометрической фигуры, каждый сегмент которой характеризуется определённым удалением от начала этой фигуры. К сожалению, в искусстве под термином "модернизм" зачастую понимают именно эти части, наиболее

удалённые от начала сегменты. Такой подход представляется нам не совсем правильным. Разброс способов модернистского выражения особенно нагляден в визуальных искусствах, в частности, в живописи, где общий термин модернизм включает такие разные течения как импрессионизм, экспрессионизм, примитивизм, кубизм, абстракционизм и т.п. В словесном искусстве дело обстоит гораздо сложнее. Тем не менее модернистские произведения имеют определённые признаки, которые позволяют нам безошибочно отличить их от реалистических, также как мы безошибочно отличаем модернистские полотна от реалистических в музее, случайно попав из зала 18 века в зал 20 века, и не сразу чувствуем разницу, попав в зал 19 века.

Каковы же эти самые общие черты модернизма в произведении словесного искусства? Для удобства определения этих черт будем рассматривать художественное произведение в двух планах — в плане семантическом и в плане исполнительском. План семантический — это то, что выражает данный художественный текст, план исполнительский — то, как выражается, то, что выражается, иными словами, техника выражения. Само собой разумеется, что оба плана художественного произведения не существуют, вернее не работают в отрыве друг от друга, и рассматриваются отдельно только ради простоты анализа. Художественный же текст есть живое взаимодействие этих двух планов. Другими словами, техника Бунина, применённая к небунинскому материалу, может не дать таких результатов, какие она даёт у самого писателя. И, наоборот, бунинский подход к материалу без его техники может не проявиться как что-то оригинальное, присущее только ему.

Модернизм в семантическом плане — это особое видение человека, его психики и его поведения по отношению к другим людям и внешнему миру в 20-ом веке, а в плане исполнительском — особое выражение этого видения.

Для модернизма характерно рассмотрение человека, как отдельного индивидуума, отдельного психического и физического мира, непохожего на другие подобные миры, мира, в котором действуют свои определённые законы, зачастую не совпадающие с законами общества. Жизнь этого мира с точки зрения художника-модерниста имеет полное право на художест-

венное выражение. Это — основной признак модернизма. Рассматривая русскую литературу 19 века, мы можем заметить, что каждое произведение в большей или меньшей степени было произведением морализаторским, дидактическим, учило жить, а его автор рассматривал себя и рассматривался другими как учитель жизни. Его герой был всегда воплощением не столько его (героя) собственных оригинальных взглядов и чувств, сколько воплощением взглядов определённой социальной (реферативной) группы: дворянин, разночинец, светская женщина, крестьянка, мелкий чиновник, помещик и т.п. Герой реалистического (не-модернистского) произведения, другими словами, воплощал в себе противопоставление одной социальной группы другой. Он мог себе позволить вести себя не так, как представители других групп, но не мог встать вне группы и вне всяких групп вообще, т.е. функционировать как отдельный, ни на что не похожий мир.

Модернистское произведение, признавая основным оригинальность индивидуума, ставит его вне общества, а зачастую и вне общественной морали, нравственности, законов, располагает его по ту сторону добра и зла. И делает это не потому, что бросает вызов обществу, а потому, что в принципе отвергает прямолинейный дидактизм художественного произведения, ставя на первое место критерий художественности, а не критерий нравственности. В особенности касается это модернистских взглядов на любовь, как на свойство человеческой психики и чувственного познания мира, а не как на биологически и исторически сложившееся социальное поведение. Отсюда так много в модернистской литературе отклонений от социальных норм и форм любви.

Трактовка любви в произведениях русской до-модернистической литературы никогда не выходила за рамки общественного критерия. Пушкинская Татьяна, девушка по своему поведению довольно смелая для тогдашней литературы, всё же не позволила себе нарушить моральные принципы своего общества, стараясь подавить своё чувство любви во имя долга. Толстой не даёт Наташе сделать последнего шага в сближении с Анатолем, в другом романе он бросает Анну под поезд за измену мужу. Любовь в реалистическом произведении — это

прежде всего социальное явление, а потом уже чувство. Отсюда так часто изображается столкновение чувства и социального состояния ("Бедная Лиза"), чувства и долга (Катерина в "Грозе"), чувства и аморального поведения (везде у Толстого). При этом любовь, как чувство, иногда доходит в трактовке писателя до полного отрицания ("Крейцерова соната") или приобретает уродливые формы истерической любви-ненависти (у Достоевского).

В произведениях же модернизма чувство рассматривается в первую очередь как чувство, а во многих случаях и как чувство изначально "запретное", "аморальное" с точки зрения общества. Я здесь беру эти слова в кавычки только потому, что для модернизма они часто ничего не значат, для модернизма как для способа художественного выражения индивидуального мира. При этом не следует полагать, что художник-модернист отвергает нравственность и мораль, вовсе нет, просто в его художественном выражении отсутствует этот критерий, как, например, в изображении комнаты может отсутствовать характеристика её хозяина. Отношение описываемого к моральным критериям общества может быть, впрочем, дано опосредствованно, в результате столкновения художественного материала с читательским сознанием.

С точки зрения всего вышесказанного рассказы о любви Бунина — рассказы модернистские в семантическом плане и для русской литературы крайне необычные ещё и потому, что любовь в этих рассказах прежде всего чувство физиологическое.

Каким же образом Бунин-художник преодолевает сознание читателя, которое всегда применяет, хотя и невольно, критерии морали своего общества к литературным героям, заставляя его в каждом конкретном случае отказаться от предвзятого, заранее выработанного социальным сознанием отношения к тому или иному событию? Почему мы не чувствуем презрения к замужней женщине, которая изменяет мужу в первый же день встречи с незнакомым человеком ("Солнечный удар", "Визитные карточки"), не осуждаем невинную девушку, смело идущую на связь с человеком намного старше себя, которого она даже и не любит ("Лёгкое дыхание")?

Физическая любовь как любовь низкая всегда отождествля-

лась в русском обществе с грехом, а потому не представляла интересной темы для русского писателя и описывалась крайне редко. Отсюда новизна для русских Мопассана и одновременно неприятие его, как слишком откровенного и стоящего на расплывчатых моральных позициях (вспомним оценку его Толстым).

Бунин вводит новый концепт любви в русскую литературу (вероятно здесь не обошлось без влияния иностранных литератур, в особенности французской). Любовь у Бунина — это прежде всего любовь, в основе которой лежит *исключительно* физическое влечение, однако это физическое влечение доведено у героев Бунинских рассказов до высшей степени — физическое влечение — страсть. За осуществление близости, даже минутное, герой Бунина готов пожертвовать всем, даже жизнью. Но самое главное у Бунина — это не столько сам факт физической страсти, сколько вынесение его за рамки добра и зла, за рамки морали — любовь по Бунину — это, прежде всего, произвольное, неконтролируемое человеком чувство, приходящее к нему вдруг, внезапно и приносящее ему наивысшее счастье и наивысшее страдание одновременно. Это чувство — вне рациональной оценки, так же как и другие естественные чувства человека: чувство голода, чувство жажды, чувство грусти, чувство красоты. Бунин как бы бросает вызов традиционному представлению о любви в русской литературе. Более того, он заведомо берёт сюжеты наиболее банальные и наиболее “аморальные” с точки зрения общества. Сам сюжет бунинского рассказа, взятый в целом виде, порой бывает тривиален до пошлости: офицер встречается с женщиной на пароходе, предлагает ей сойти на ближайшей станции, они едут в гостиницу, проводят там ночь, наутро она уезжает, и они больше никогда не встречаются (“Солнечный удар”); писатель знакомится с женщиной на пароходе, ведёт её в свою каюту, потом они расстаются (“Визитные карточки”); молодой человек приезжает в гости к инвалиду-дяде, знакомится с медсестрой, которая ухаживает за дядей, вступает с ней в связь, потом домашние обо всём узнают, и сестра вынуждена уехать (“Антигона”) и т.п. Но в том то и дело, что сюжетная схема для бунинского рассказа почти не важна, важно её исполнение, воплощение, в результате которого происходит опоэтизирована-

ние сюжетной схемы. Этот приём *"опозитизирования"* влечений, которые традиционно считаются низкими, и составляет основное качество бунинских произведений. В каждом рассказе писателя присутствует красота, пронизывающая всю словесную ткань произведения. Почти каждый рассказ Бунина построен по определённой рецептуре с постоянными ингредиентами. Этот рецепт и выявляет оригинальность писателя. Вот его примерный план: 1. обязательное описание природы, воспринятой глазами одного из героев, 2. описание физической красоты женщины, глазами героя-мужчины, 3. описание чувств мужчины-героя.

Все эти описания у Бунина опозитизированы до предела. Герой, так тонко воспринимающий красоту природы и окружающего мира, не может совершать аморальные поступки. Вернее, автор рассказа своими художественными средствами заставляет нас видеть героев своими глазами и заражает нас их чувствами так, что мы сами на время оставляем критерий морали и становимся вне её. Поэзия Бунинского слова переворачивает действительность (должное) вверх ногами. Должное (с точки зрения обычной морали) выставляется как плохое, а дурное (с той же точки зрения) как прекрасное. Каждый раз Бунину удаётся убедить читателя, что то, что произошло с героями, то же, что бывает обычно (т.е. банально) и в то же время то, что не бывает обычно, нечто новое: то да не то.

Эта техника "то же, да не то же" крайне характерна для Бунина. В конечном счёте рассказ Бунина оказывается не рассказом о случайной связи, а рассказом о судьбе человека, в одном из её единичных проявлений, о том, что это судьба действует против воли и разума человека, формирует его отношение к миру, меняет его, убивает его. Рассказ о связи перерастает в рассказ о необыкновенной глубине чувства физической любви, не связанной с разумом человека.

Любовь у Бунина — это всегда трагедия. Настоящая любовь, то есть высшая степень чувствования, которая приходит сразу, не может иметь развития, ей некуда развиваться, она началась с высшей точки и может или оборваться, или пойти на спад. Настоящая любовь и счастье (не по Бунину, а в обычном смысле этого слова — ровная жизнь человека) несовместимы. Любовь — это всегда несчастье и кончается трагедией.

Описания Бунина построены так, и детали реальности отработаны и скомпонованы таким образом, чтобы заставить читателя почувствовать истинность страсти героев, понять, что это их естественно возможное в данных обстоятельствах поведение.

”Поручик взял её руку, поднёс к губам. Рука, маленькая и сильная, пахла загаром. И блаженно и страшно замерло сердце при мысли, как, вероятно, крепка и смугла она вся под этим лёгким холстинковым платьем после целого месяца лежания под южным солнцем, на горячем морском песке. Поручик пробормотал:

Сойдём...

Куда? — спросила она удивлённо.

На этой пристани.

Зачем?

Он промолчал. Она опять приложила тыл руки к горячей щеке.

— Сумасшедший...

...Извозчик остановился возле освещённого подъезда, за раскрытыми дверями которого круто поднималась старая деревянная лестница, старый, небритый лакей в розовой косоворотке и в сюртуке взял вещи и пошёл на своих растоптанных ногах вперёд. Вошли в большой, но страшно душный, горячо накалённый за день солнцем номер с белыми опущенными занавесками на окнах и двумя необожжёнными свечами на подзеркальнике, — и как только вошли и лакей затворил дверь, поручик так порывисто кинулся к ней и оба так иступлённо задохнулись в поцелуе, что много лет потом вспоминали эту минуту: никогда ничего подобного не испытал за всю жизнь ни тот, ни другой.”

Искусство отбора деталей у Бунина заключается в том, чтобы подобрать не прямолинейно поэтические высокопарные сравнения, метафоры или метонимии, а естественные детали, иногда даже несколько сниженные (небритый лакей, растоптанные ноги), но никогда не снижающие чувственного настроения героя. Само описание номера дано в нескольких словах, скорее возвышенных по своей сути: накалённый солнцем номер, соответствующий внутреннему накалу героев, белые опущенные занавески на окнах (чистота, тайна), необожжённые свечи на подзеркальнике (символика гадания, таинственного совмещения двух судеб, которым предстоит пройти огонь

страсти). Детали описания в то же время не нарочиты, однако восприятие и ситуации, и номера гармонирует с внутренними чувствами героев, они воспринимают только красивое или нейтральное, но не замечают низкого или банального.

Интересно сравнить этот эпизод с похожим по теме эпизодом из рассказа Куприна ("Первый встречный"), но совершенно непохожим по настроению. Мужчина и женщина также приезжают в гостиницу, но в отличие от Бунинских героев они не любят друг друга. Никакого чувства страсти или любви они не испытывают. Соответственно и восприятие окружающего мира у них другое. Обстановка гостиницы бросается герою в глаза своей пошлостью, неухоженностью и безвкусицей. Детали описания снижают восприятие читателя, и вся сцена предстаёт совершенно в другом свете, чем у Бунина, хотя можно теоретически допустить, что это могла быть одна и та же гостиница, но люди в неё приехали другие, и в глазах этих других людей и окружающий мир оказывается другим.

Но секрет здесь не только в выражении Буниным особого отношения к чувству любви, но и выражение этого отношения определёнными художественными средствами, средствами модернистской литературы, а если говорить более точно, средствами импрессионистическими. Бунин, может быть, как ни один писатель ярко выражает импрессионистическое восприятие мира в словах.

Ни один из его рассказов не обходится без описания природы. Сказать, что эти описания находятся в непосредственном взаимодействии с характером всего происходящего в рассказе и зачастую имеют символический характер будет верно, но недостаточно. Описания природы в рассказах о любви Бунина призваны в первую очередь создать у читателей определённое настроение к восприятию необыкновенного случая мимолётной любви-страсти, неожиданного напряжения всех любовных сил, любви — солнечного удара. Подобное описание природы всегда глубоко ритмично и лирично, но самое главное, всегда представляет собой олицетворение. Вещам, явлениям природы, цветам и птицам приданы человеческие поступки, человеческое сознание и человеческие чувства. При этом описание всегда романтизировано, приподнято. В описаниях природы нет ничего

отталкивающего, неприятного. Бунин выбирает намеренно или нейтральные, или приятные детали окружающей действительности. Но самое главное у Бунина — это чувственное восприятие природы: запахи, ощущение тепла или холода кожей, слуховые ощущения. При этом человек всегда находится в чётких пространственных отношениях с природой.

“Ночью осторожно и старательно пели в парке соловьи, входила в открытые окна спальни свежесть воздуха, росы и политых на клумбах цветов, холодило постельное бельё голландского полотна”, (Антигона)

Соловьям здесь приданы человеческие качества “осторожно и старательно”, они составляют звуковой фон сцены, воспринимаются слухом, свежесть воздуха, росы и цветов воспринимается обонянием и осязанием, холодное бельё — осязанием. Описание в целом призвано создать чувство чистоты, глубокого дыхания, наслаждения окружающим миром, его красотой.

Весьма характерной чертой бунинской техники письма является гармоническое сочетание пространственных, цветовых, обонятельных и осязательных ощущений. Цветовое богатство бунинских описаний было много раз отмечено его современниками. “У Чехова красок по крайней мере в сто раз меньше”, замечает о Буине Ю. Олеша в своей книге “Ни дня без строчки.”

Взгляд Бунина на любовь как на захватывающую человека слепую страсть, которая определяет его поступки и руководит ими, обострённое внимание писателя к сфере физиологически-инстинктивного и подсознательного не оставляют сомнения в том, что, как и многие модернисты, Бунин находился под влиянием фрейдистских положений, независимо от того, пришли ли они к нему непосредственно от Фрейда или косвенным путём. Вероятно также влияние на Бунина современных ему французских писателей-модернистов Марселя Пруста, Андре Жида, Жана Жироду, Поля Валери и других, с творчеством которых, живя во Франции, Бунин должен был быть хорошо знаком.

Техника описания воспоминаний, путешествие мыслью в прошлое, воспроизведение утраченного времени под влиянием случайного ощущения, случайного психологического или чувственного импульса особенно сближают Бунина с Прустом. Некоторые отрывки бунинских произведений написаны в чисто

прустовском ключе, как, например, это начало рассказа "Мистраль";

"Лёжа в чёрной тьме спальни, среди шума и гула наружи, теряешь представление о времени. Забываясь, думаешь: "Кажется скоро рассветёт..." Но затем опять видишь ту же чёрную тьму, слышишь, как жално несётся наружи мистраль, и понимаешь, что эта тьма, этот шум и гул ещё ночные, полночные. Привычно подняв руку к изголовью, я освещаю спальню, смотрю на часы: час самый мёртвый..."

Итак, было будто бы время, когда я "всходил на корабль", юный, беспечный, ни о какой гавани не думающий... Где же оно, это время? Вот только моя мысль о нём!"

Есть свидетельство самого Бунина о его близости к Прусту, хотя Бунин и отрицает в нём непосредственную преемственность метода французского писателя. Так он пишет профессору П. М. Бицилли 5 апреля 1936 года:

"... когда на что-нибудь мода, я "назло" отвёртываюсь от модного. Так было с Прустом. Только недавно прочёл его — и даже напугался: да ведь в "Жизни Арсеньева" и в "Истоках дней" и в том начале II-го тома, что я напечатал три года тому назад, немало мест совсем прустовских! Поли, доказывай, что я и в глаза не видал Пруста, когда писал и то, и другое!"

Описания близости у Бунина поражают своей опозитированной сексуальностью, выраженной, главным образом, через богатство цветовых наблюдений и искусно смонтированных деталей. Каждая такая казалось бы необязательная деталь (чаще всего деталь туалета) даётся в сочетании с одним или двумя эпитетами. Двойной эпитет вообще дело довольно сложное и в текстах других писателей зачастую нарочитое, в рассказах же Бунина двойной эпитет поразительно точен, гармоничен и естествен.

"На лестнице я её поймал, она опять выгнулась, опять замотала головой, но без большего сопротивления. Я довёл её до мастерской, целуя в закинутое лицо. В мастерской таинственно зашептала:

— Но послушайте, ведь это же безумие... Я с ума сошла..."

А сама уже слёрнула соломенную шляпку и бросила её в кресло. Рыжеватые волосы подняты на макушку и заколоты черепаховым

стоячим гребнем, на лбу подвитая чёлка, лицо в лёгком ровном загаре, глаза глядят бессмысленно-радостно... Я стал как попало раздевать её, она поспешно стала помогать мне. Я в одну минуту скинул с неё шёлковую белую блузку, и у меня, понимаешь, просто потемнело в глазах при виле её розоватого тела с загаром на блестящих плечах и млечности приподнятых корсетом груди с алыми торчащими сосками, потом от того, как она быстро выдернула из упавших юбок одну за другой стройные ножки в золотистых туфельках в ажурных кремовых чулках, в этих, знаешь, батистовых широких панталонах с разрезом в шагу, как носили в то время." ("Галя Ганская")

Смелость в описании сцен близости и вообще обострённое внимание к теме физической любви сближает Бунина с Мопассаном, которого он ценил очень высоко. В дневниковой записи от 3 августа 1917 года Бунин замечает о Мопассане: "Он единственный, посмевавший без конца говорить, что жизнь человеческая вся под властью жажды женщины". Увлечены Мопассаном и герои Бунина. В одном из рассказов о любви Мопассан упоминается в следующем диалоге:

— А что вы любите читать? — спросил он, немного смелее встречая её взгляд.

— Сейчас читаю Мопассана, Октава Мирбо.

— Ну да, это понятно. Мопассан всем женщинам нравится. У него всё о любви.

— А что может быть лучше любви?

Голос её был скромен, глаза тихо улыбались". (Антигона)

Однако при сравнении Бунина с Мопассаном видна и глубокая разница в отношении к женщине. Правда то, что у Бунина и у Мопассана женщина прежде всего выступает как объект сексуального желания мужчины, но на этом общее и заканчивается. У Мопассана отсутствует в отношениях героев та страстность и готовность на любые жертвы ради любви, которые так характерны для бунинских героев. В большинстве рассказов Мопассана близость рассматривается и героем и героиней только лишь как развлечение небольшого порядка, ей не сопутствуют глубокие и противоречивые чувства. Нет у Мопассана и идеи катастрофичности любви, которая заключена почти в каждом рассказе Бунина. Неларом в некоторых из них

говорится об убийстве или самоубийстве на почве страсти ("Кавказ", "Митина любовь", "Часовня" и др.). Да и само отношение Мопассана к женщине то насмешливое, то сострадательное, часто легкомысленно шутливое не идет ни в какое сравнение с бунинским взглядом на женщину как на существо таинственное, приносящее мужчине одновременно и огромное счастье, и огромное страдание. Интересна в связи с этим ещё одна дневниковая запись Бунина: "женщины... ведь это даже как бы и не люди, а какие-то совсем особые существа, живущие рядом с людьми, ещё никогда никем точно не определённые, непонятные, хотя от начала веков люди только и делают, что думают о них".

Подводя итоги разбору элементов модернистского мирозерцания и модернистской техники "изобразительности слова" в рассказах Бунина о любви, мне хочется ещё раз подчеркнуть, что и то, и другое не просто сосуществует в рассказах писателя, но и объединено одной точкой зрения, вернее, одним чувством приподнятости, торжественности и таинственности происходящего. Комбинация элементов действительности, одни из которых описываются тщательнейшим образом и ярчайшими красками, а другие даются только едва заметными штрихами и полутонами, элементов, объединённых одной задачей: выразить чувство в слове — эта комбинация и есть та тайна воздействия рассказов на читателя, которой так мастерски владел Бунин.

Сам писатель прекрасно понимал своё новаторство в технике описания. Интересен в связи с этим его ответ на критику Адамовичем изобразительности как литературного приема:

"Адамович в горестном недоумении. "Ну, ещё раз будет описана лунная ночь, а дальше что?" Я бы тоже мог недоумевать: ну, ещё будет сказано про то, что Петербург "призрачный город" или про Медного всадника... а дальше что?.. Если лунная ночь описана скверно или банально, не будет, конечно, ровно ничего "дальше". А если хорошо, то есть настоящим художником, который, конечно, не фотографией лунной ночи занимается, а всегда говорит прежде всего о своей луне, то уже "дальше" непременно что-нибудь будет". (На поучение молодым писателям)

На основании тематики и техники рассказов о любви, мне кажется, есть все основания говорить о том, что Бунин внёс в русскую литературу новую импрессионистическую форму, и с психологической, а не с социальной точки зрения подошёл к трактовке любви как к вечной загадке человеческой жизни, вечному источнику счастья и страдания.

Михаил Кренин

АНТИГОНА

О, я уйду, как никнут камыши,
Я отлечу, как отлетает эхо —
Пусть гибнет тело, клетка для души,
Для изначальной лёгкости помеха.
Любила я вечернюю зарю
И горных коз на склонах Киферона
И вот, теперь сама я догорю,
Уйду, как листья отрясает крона.
Покорна я, раз мой настал черёд,
Мы — сёстры, жрицы, матери и жены
Хранительницы древних очагов,
Мы — не строптивы, мы храним законы.
Когда я в детстве слушала свирель,
Когда была я девочкой весёлой,
Любила травы, солнце и зверей,
Любила игры, ласточек и школу,
Всегда бывало, думала — умру
И стрельчатую ласточкой прикинусь,
А если брат переживёт сестру
Пусть ведаёт другую половину.
Ты не поймёшь, как с братом мы дружны
Ты узнице на слово не поверишь,
Тиранам, видно, сёстры не нужны,
Ты рос один, ты был самодавлеюш.
Ты не поймёшь, что я была сестрой
Не брату только, а ветрам и влаге,
И голубым туманам над горой

И дереву упавшему в овраге,
Светилам ночи, камню и заре,
Чужому брату и чужой сестре.
Во славу боевого топора
Ты выросстал в своей суровой школе
Но я ведь и тебе, тиран, сестра,
Когда велит мне сестренская доля.
Ты твёрд, тиран, ты прочен, как гранит,
Ты сам себе и памятник и память,
Мы рождены, чтоб братьев хоронить,
А ты рождён, тиран, чтоб нами править.
Мы мучимся и всходим на костёр,
Нам не дано направить ход событий,
Но я умру сейчас за всех сестер,
За братьев всех и за тебя, правитель.
Я не была ещё ничьей женой,
Я не жалею — быть сестрой — почётней,
Всей полнотой, всей женской крутизной
Служила я моим друзьям бессчётным.
Дышала хвоей, знала первый снег,
Любила брата и его затеи,
Его дела. Я всем была для всех,
Прозрачней утра и ручья светлее.
Мне — умереть? Пожалуй, и умру
Блаженных теней так свободна поступь
А ты не верь так слепо топору —
Не знаешь ты, что все бессмертны сёстры.
Ты позабыл, тиран, что смерти — нет,
Я отошла без горечи и горя,
Я отдала свой потаенный свет
Алмазному созвездию Антигоны.
Я отлетела просто, как жила,
От детства к смерти я была готова,
Как будто жизнь прологом ей была,
В любой сестре я воскресаю снова.

Олег Ильинский

Я УНЕС РОССИЮ

АПОЛОГИЯ ЭМИГРАЦИИ

Гл. 2. Россия в Германии

В газете "Накануне"

В марте 1922 года в Берлине начала выходить ежедневная сменовеховская газета "Накануне" под редакцией проф. Ю. Ключникова и Г. Кирдецова, при ближайшем участии проф. С. Лукьянова, Ю. Потехина и Б. Дюшена. Сотрудниками "Накануне" стали некоторые видные эмигрантские писатели и журналисты Алексей Толстой (редактор "Литературного Приложения"), А. С. Яценко (редактор "Научного Приложения"), Ив. Соколов-Микитов, А. Дроздов, А. Ветлугин (Рындзюк), Нина Петровская (Рената из "Огненного Ангела"), Н. Василевский (не Буква), экономист Вугман, репортеры Вольский, Шенфельд (Россов) и др. В эмиграции газета встретила недружелюбное отношение, ибо идея "примирения с советской властью" массой эмиграции не разделялась. Не знаю, кто финансировал "Накануне", но думаю — через к.н. подставное лицо она издавалась на советские деньги. Для сменовеховцев, звавших к примирению с властью и возвращению в Россию, эти деньги не были "бубновым тузом". Для массы же антибольшевицкой эмиграции (совершенно правильно!) были.

Станкевичи тогда жили еще в Берлине и В.Б. хотел начать сотрудничать в "Накануне", что вызвало резкое сопротивление Наталии Владимировны. Она ни за что не хотела, чтобы В.Б. получил наименование "сменовеховца", хотя по сути сменовеховцы стояли на той же позиции примирения, что и журнал Станкевича "Жизнь". Помню генеральное сражение у Станке-

вичей было при мне. Владимир Бенедиктович его проиграл. Но не столько из-за доводов Наталии Владимировны, сколько из-за довода В.С. Войтинского. Войтинский говорил Станкевичу так: "Владимир Бенедиктович, я понимаю вашу точку зрения, понимаю вашу политическую позицию, но если вы хотите сотрудничать с советской властью, т.е. писать для советского читателя, то лучше пишите прямо в "Известиях", чем в "Накануне", потому что "Накануне" — это большевицкий политический "камуфляж". Попробуйте писать прямо туда, в "Известия". Довод Войтинского подействовал. В.Б. отказался от того, чтобы стать сотрудником "Накануне". Но и в "Известиях", конечно, никогда не писал.

Я сотрудником "Накануне" стал. И произошло это так. К нам в "Новую Русскую Книгу" как-то пришел Алексей Толстой, уже редактировавший "Литературное Приложение". В разговоре спросил меня: "Роман Гуль, нет ли у вас чего-нибудь для "Литературного Приложения"? Я слышал, вы роман пишете?" — "Романа не пишу, а некую повесть пишу". "Вот и великолепно! Дайте отрывок для "Литературного Приложения". — "Хорошо, что-нибудь выберу".

И я дал Толстому отрывок из повести "В рассеянии сущие", который появился в ближайшем номере литературного приложения к "Накануне" от 22-го мая 1922 года. У кое-кого из моих знакомых это вызвало некий "взрыв". Но, конечно, не коснулось моих друзей — Станкевичей, Николаевского и др. А в правление "Союза Русских Писателей и Журналистов" Владимир Евгеньевич Татаринov (в прошлом харьковский журналист) подал тогда письменное заявление, предлагая исключить из "Союза" всех сотрудников "Накануне". Думаю, он по-своему был совершенно прав. Но судьбе было угодно над этим его "действием" улыбнуться. В 1947 году в Париже в правление "Союза Русских Писателей и Журналистов" я и С.П. Мельгунов (члены правления) подали составленное мной заявление об исключении из "Союза" всех членов "Союза советских патриотов" и сотрудников газеты "Советский Патриот", выходявшей в Париже. Общее собрание состоялось, и "советские патриоты" были, по моему и Мельгунова предложению, исключены. Среди них оказался и Владимир Евгеньевич Татаринov, в

те дни ставший архи-советским патриотом и фактическим редактором пробольшевицкой газеты на русском языке "Русские Новости", выходившей также в Париже. Вместе с своим другом Арсением Федоровичем Ступницким В. Татаринов был вхож тогда в советское посольство, вместе с А. Ф. Ступницким загнал на прием к совпослу Богомолу В.А. Маклакова. Так что мы с Татариновым через 25 лет "обменялись ролями", но "без лести преданным" и "своим в доску", каким оказался В.Е. Татаринов в Париже, я никогда не был.

Итак, в Берлине 1922-го года состоялось общее собрание "Союза Писателей и Журналистов", на повестке которого стояло исключение сотрудников "Накануне". Постоянным сотрудником "Накануне" я тогда не был, но так как я там напечатался, то счел для себя правильным прийти на собрание и быть тоже исключенным. Надо сказать, что в Союзе у меня было много друзей, которые моего исключения не хотели. За несколько дней до собрания ко мне пришел Юрий Офросимов и сказал примерно так: "Роман, многие не хотят тебя *исключать*, и мне сам Гессен сказал, чтобы я предложил тебе просто подать заявление о выходе. И всё".

Тут я должен сделать экскурс в область своей психологии и характера. Говорят, во мне есть некая закидчивость и "любовь к сражению". Некоторые называли это даже "неистовостью", "неуемностью" и пр. Это не совсем так. Я просто не люблю (и даже не терплю) *стадности*. И это с отроческих лет. Я всегда хотел и хочу по своей "по глупой волюшке пожить", я — фанатик своей собственной свободы и посему в жизни часто шел "поверх барьеров". Так, бросив все, я ушел в Ледяной Поход. Так я ушел из Добровольческой армии. Так я отказался ехать в гражданскую войну из Германии и остался в ней дровосеком. Так я написал "Ледяной Поход". Вот и тут я "закинулся", если хотите. Я сказал Юрию, что с "черного хода" уходить из Союза не хочу. А поэтому я не только не подам никакого заявления о выходе, но приду на общее собрание и во всеуслышание попрошу об одновременном со мной исключении редактора "Руля" проф. А. Каминку за его торговлю с большевиками целлюлозой в Прибалтике и главного редактора "Руля" И.В. Гессена за то, что он, как я слышал, посетил в Берлине приехавшего из

Ленинграда представителя Госиздата коммуниста Илью Ионова, предлагая ему купить книги, изданные Гессеном в изд-ве "Слово". Кстати, через несколько лет, когда однажды К. Федин познакомил меня в Берлине с И. Ионовым, последний этот факт подтвердил. Юрий Офросимов был человек не только уж не закидчивый, но даже, к сожалению, несколько трусоватый. — "Роман, — взмолился он, — ради Бога, ты же лезешь на рожон, на скандал. Зачем это нужно?" — "Я не знаю зачем и кому это нужно, — сказал я, — но так и передай Гессену, что я сделаю именно так, как я тебе сказал". Юрий был удручен, но увидел, что меня тут не сломишь.

Так все и вышло. Я пришел на собрание и сказал все так, как говорил Юрию. Это произвело некое неудобное замешательство. Я видел, что председательствовавшему И.В. Гессену это было неприятно, хоть он и улыбался, но никаких опровержений не последовало. Разумеется, всех сотрудников "Накануне" исключили (и правильно, по-моему, сделали).

После отрывка из повести "В рассеянии сушие" я в "Накануне" ничего не помешал. Но когда Алексей Толстой уехал в Советскую Россию насовсем, мне предложили редактировать "Литературное Приложение" и для сего пригласили зайти в редакцию. В письме ко мне от 30 марта 1924 года из Праги Марина Цветаева писала: "Из России я выехала 29-го апреля 1922 г. Скучаю ли по ней? *Нет* (курсив М. Цветаевой. Р.Г) Совсем не хочу назад... Редактируете "Накануне"? Не понимаю, но принимаю, потому что Вы хороший и дурного сделать не можете". Марина не могла тогда, конечно, даже представить себе какую "дурную", страшную "смену вех" придется проделать ей вместе с мужем С. Эфроном и чем они оба за это заплатят. Расстрелом и самоубийством.

Редакция "Накануне" занимала обширное помещение. Меня приняли С.С. Лукьянов и Г.Л. Кирдецов. Профессор Лукьянов был сыном быв. прокурора Святейшего Синода. Человек воспитанный, довольно молодой, среднего роста, лицо как лицо, ничего примечательного. Но Г. Л. Кирдецов мне сразу не понравился. Он был уже в годах, отталкивающей внешности (Кирдецов — это был, кажется, псевдоним). По всем своим манерам он был типичнейший, издававший всякие виды и во всех

водах мытый *газетчик*. В эмиграции он издал книгу "У ворот Петрограда" (1919-20 гг.) — о наступлении генерала Юденича на Петроград. Потом болтался где-то в Прибалтике, ни с какими сменовеховскими писаниями никогда не выступал и вдруг... оказался в редакторском кресле "Накануне"? Кончил тоже, кажется, вполне благополучно, уехал в Москву, где работал в "наркоминделе".

На неблагообразном лице Кирдцова неизменно плавала какая-то непонятная и неприятная ухмылка. В разговоре (именно с этой ухмылкой) он сказал мне, что на "Литературном Приложении" указания, что я редактор, не будет. "Вы понимаете, конечно, что у вас такого имени, как у Толстого, нет". — "Разумеется. Я ни к какой рекламе и не стремлюсь".

Так я начал работу редактора "Литературного Приложения". Это было в июле 1923 года и длилось до июня 1924 года, когда "Накануне" закрылась "за ненадобностью". В "Литературном Приложении" сотрудничали многие писатели из Советской России: Михаил Булгаков, А. Мариенгоф, Б. Пильняк, Н. Никитин, Осип Мандельштам, Юрий Слэзкин, К. Федин, В. Катаев, М. Волошин, Всев. Иванов, Вл. Лидин, Всев. Рождественский, П. Орешин, А. Неверов, Корней Чуковский, Л. Никулин, Э. Голлербах и др. Сотрудничал живший в Берлине А. Кусиков. Из эмигрантской молодежи я привлек своих друзей Юлия Марголина (в будущем автора замечательной книги "Путешествие в страну зека") и поэта Георгия Венуса (вернувшегося с семьей в СССР и расстрелянного через несколько лет), кроме них — поэта Вадима Андреева (сына Леонида Андреева), написавшего об отце хорошую книгу, поэтессу Анну Присманову и др. Некоторое время сотрудничал и мой друг Вл. Корвин-Пиотровский.

К сменовеховцам-политикам я отношения не имел. Они вели газету, я же приезжал редактировать и верстать свое "Литературное Приложение". Но всех редакторов газеты я узнал. Юрия Вениаминовича Ключникова я встречал несколько раз, помню говорили мы с ним о его пьесе "Куст", которую он написал в Париже. Довольно высокий, плотный, с темными волосами, зачесанными назад, с лицом правильным, но ничем в глаза не бросающимся, с тихой спокойной речью, Ключников не был

таким ярким человеком, как, например, Степун, Толстой, Маклаков, но был, конечно, "личностью". Он был умен, образован, вскоре он уехал из Берлина. Как я уже упоминал, его взял Г. Чичерин на Генуэзскую конференцию в качестве "советника" (разумеется "статиста для пропаганды" и, вероятно, по чекистскому рецепту, и для "усыпления" бдительности самого Ключникова). Затем он уехал в РСФСР и подробно его дальнейшая судьба мне неизвестна. Умер через несколько лет "при невыясненных обстоятельствах".

Сергея Сергеевича Лукьянова я встречал не часто. Легко писавший, образованный, владевший иностранными языками — по отъезде Ключникова — он фактически стал "передовиком" газеты, пиша об исторически неизбежном переходе большевицкой диктатуры к формам "трудовой демократии". Судьба его сложилась страшно. По закрытии "Накануне" он с женой переехал в Париж, откуда при каких-то странных обстоятельствах он был выслан французской полицией (как мне говорили, даже будто бы с применением "наручников") в Сов. Россию. В Москве на некоторое время стал редактором "Журналь де Моску", а потом — Ухт-Печерский концлагерь, где его забили насмерть на допросах. В лагере же оказалась и его эффектная красивая жена.

Г. Л. Кирдцова я почти не встречал, никаких дел у меня к нему не было. Ю. Потехина встречал на его докладах о поездках в Москву и о встречах с советскими писателями. Потехин не был яркой фигурой и, как все политики-сменовеховцы, скоро уехал в Москву. Что с ним стало — Бог весть. Был в газете репортер Вольский, который тоже уехал в Сов. Россию и там был расстрелян как "агент румынской сигуранцы". Была ли тут хоть доля правды, или это была "легенда" ОГПУ? Уехал скоро в Россию и другой репортер — Шенфельд (Россов). Мельком встречал проф. С. Чахотина — человека архикнижного, странноватого, не от мира сего, старого приятеля Федора Степуна. Он тоже вернулся в Сов. Россию. Что с ним стало — не ведаю. Кажется, неожиданно дожил до старости.

Б. В. Дюшен

Но кого я довольно часто встречал и кто был человек яркий и запоминающийся — это Борис Вячеславович Дюшен. Хорошего роста, хорошо скроенный, с правильными чертами лица, лишенного всякой растительности, нерусского, а скорее французского типа (он и был французского происхождения). Очень разговорчивый, веселый, ко всем благожелательный, всем готовый помочь, с ласковой улыбкой вне времени и пространства, Дюшен был приятным человеком. И при всем том мне всегда казалось, что он — “нарисованная дверь”, по выражению Зинаиды Гиппиус, примененному к И. И. Фондаминскому-Бунакову. Дверь-то *нарисована*, поэтому и войти в нее нельзя. Было в Дюшене что-то оптимистически-авантюристическое. Казалось, при надобности Борис Вячеславович ни перед чем не остановится, через все перешагнет.

Биография у Б. В. Дюшена была яркая. Был он сыном военного, был в эсраках, даже кажется в бомбистах, по специальности инженер, был фронтовым офицером, научным работником, лектором, автором многих научно-популярных книг, был журналистом, членом Учредительного Собрания, комиссаром Временного Правительства в Ярославле. Во время ярославского восстания 1918 г., к которому был причастен Б. Савинков, Дюшен был восставшими восстановлен в должности комиссара Временного Правительства и принял в восстании самое активное участие. Подавившие восстание, ворвавшиеся в Ярославль большевики за голову Дюшена назначили какую-то солидную сумму. Но чудом Борису Вячеславовичу удалось спастись. Как-то у него за чайным столом он рассказал мне и А. С. Яшенку, как он спасся. Придя домой, я тогда же это записал.

Рассказывал Дюшен так: “... До последнего я оставался в губернаторском доме (обычная резиденция комиссаров Временного Правительства в губернских городах). Когда в город уж ворвались большевицкие банды, я бросил все, взял револьвер и вышел на Пушкинский бульвар. Было раннее утро. На окраине шла стрельба. На бульваре ни души. Я шел с револьвером по бульвару. Потом сел на скамейку и думаю: сейчас кончать или немножко подождать? Но м. б. потому, что утро было чудесное,

я решил подождать. А стрельба все близилась с окраин к центру. Взглянул я на небо, на револьвер и вдруг почувствовал, что смертельно устал от всей этой ерунды, называемой жизнью. Встал. Оставалось немножко приготовиться. И вдруг сзади услышал шаги и странное бормотание. Оглянулся: прямо на меня идет человек. А стрельба с окраин все близится, разгорается. Человек подходит, и я вижу, это мой друг, рабочий, и совершенно пьяный.

Он говорит: — Ты что тут делаешь? — И, увидав у меня револьвер: — В каком что ль сыграть хочешь?

Да, думаю, — говорю.

— Брось, идем со мной, я тебя схороню.

Я пошел за ним молча, терять мне было нечего застрелиться всегда успею. Он качается от опьянения, а я от усталости. Дошли до базарной площади. Никого нет. Но на площадь уже падают снаряды. Посреди же площади стоит странная какая-то, как "китайская", лавочка. Довел он меня до нее и говорит: — "Лезь на потолок и лежи тихо, когда надо, я приду за тобой". Я полез на эти самые полаты, а он — слышу — ушел.

Лежать на слегах неудобно. Ну, да и на бульваре валяться трупом не Бог весть какое удобство. Лежу и даже в шель смотрю, как в обратную сторону уходит мой приятель. А разрывы снарядов на площади все учащаются. И вижу вдруг столб дыма, пропал мой друг, дым прошел, а он лежит на земле, не двигается. Пофилософствовал я тут, но делать нечего — остается только лежать.

Лежал я 48 часов, а на 49-ом стало совершенно не в мочь. Чувствую — схохну. Пусть уж лучше на улице, чем на этих самых полатах. И вылез я ночью, народу никого. Подошел к какой-то стеклянной двери, посмотрел на себя — не узнаю совершенно: стоит передо мной старик лет эдак на двести. Ну, думаю, стало быть меня и на свете нет. Так и пошел из города. У плаката с оттиском моего изображения и наградой за поимку остановился. Ценили меня дорого! А я шел и шел, ушел за город, шел по лесу, всякую гадость ел, грибы, землянику. Потом на одной маленькой станции, которую хорошо знал, прыгнул в поезд и поехал...

Так же, как и Ключников, Б. В. Дюшен бежал из Ярославля, кажется, в Казань, оттуда в Сибирь, а оттуда в Европу, но в этом я не уверен. В Европе сначала он жил в Прибалтике, там и сошелся с Г.Л. Кирдецовым, потом — в Берлине, где в изд-ве "Знание" выпустил ряд научно-популярных книг. В "Накануне", думаю, привлек Дюшена его старый знакомый по Ярославлю Ю. В. Ключников.

Квартира у Дюшена была большая, хорошо обставленная, жили они не стесняясь, часто устраивали званые чаи и обеды. Жена его Фаина (забыл отчество, кажется Александровна) была очень милая женщина, несложная, дочь сельского священника — обожала своего Боря.

Помню, как-то Борис Вячеславович пригласил на вечер, на чтение Анатолия Каменского, много писательского народа. Я пришел с некоторым опозданием. Были Ященко, Корвин-Пиотровский, Наталия Потапенко, Нина Петровская, инженер Сергей Зелигер, кто-то еще. И, конечно, сам Анатолий Каменский. Но что меня удивило, были еще два господина и, знакомя с ними, Дюшен сказал: — Знакомьтесь, пожалуйста — советник посольства Братман-Бродовский и второй секретарь (он назвал фамилию, но я ее запомнил). Эти сотрудники посольства сидели по сторонам "гвоздя вечера" Анатолия Каменского, с которым я был уже знаком. Люди из посольства были оба польские евреи, с той только разницей, что секретарь — мефистофельски черный — говорил хорошо по-русски, лишь с мягким польским "л", а советник посольства Братман-Бродовский говорил как-то кряхтя, плоховато, с сильным акцентом. И вообще производил отвратное впечатление: неуклюжий, рыжий, громоздкий. В ежовщину Сталин расстрелял его так же, как большинство из окружения берлинского полпреда Н.Н. Крестинского.

За чайным столом сидевшая со мной Нина Петровская (с ней в Берлине я дружил) шепнула, что у А. Каменского в прежней Москве в писательских кругах было прозвище: "калмыцкая богородица". Не знаю почему, но прозвище было великолепно и очень ему подходило. Как я узнал на этом вечере, Анатолий Каменский решил, оказывается, возвращаться в РСФСР, и я понял тогда, что у Дюшена происходят явные "смотрины" его

полпредскими чиновниками, перед которыми, надо сказать, Каменский глупо и дико лебезил. После вкушения всяческих "приятностей" за обильным чайным столом (Дюшен принимал всегда широко), Каменский стал читать какую-то свою новую пьесу. Она была так бездарна, что я даже не запомнил о чем была речь. Но не в таланте суть. Каменский действительно скоро уехал в Москву. Конечно, автор "Леды" никак не был нужен "социалистической литературе", но большевики подметали всех более или менее видных писателей из эмиграции. Мне рассказывали, что спервоначала где-то в витрине на Тверской была даже выставлена большая фотография Каменского с подписью, что это автор известной пьесы "Леда", вся "известность" которой состояла в том, что игравшая главную роль Леды актриса Шатрова (жена Каменского) появлялась на сцене в чем мать родила. Тогда, в 1900-х годах, это был, конечно, невыносимый "модерн", страшный "прогресс", "взрыв всех традиций", "пощечина общественному вкусу". По теперешним понятиям это — невиннейшая невинность. Нас уже приучили к куда более увесистым "пощечинам"...

Анатолий Каменский был мелкий писатель и мелкий человек. До этого с ним я встретился на обеде-приеме Маяковского неким Женей Манделем и его женой (они вернулись в РСФСР и где-то там сгнули). И я был свидетелем, как Каменский подхалимствовал перед Маяковским. Он говорил: "Владимир Владимирович, ведь такого знатока русского языка у нас кроме вас нет!" Подхалимаж был примитивно-глуп, ибо никаким "знатоком русского языка" Маяковский никогда не был, да и не выдавал себя за такового. Он всячески деформировал язык — да, иногда удачно, иногда неудачно, безвкусно. На подхалимаж Каменского Маяковский отвечал каким-то неопределенным мычанием.

Позже, припоминая многое, мне казалось, что в отъезде Каменского в Москву помог ему Б. В. Дюшен. Утвердился я в этом, когда много лет спустя А. С. Яшенко как-то, посмеиваясь, сказал мне, что А. Дроздов и Глеб Алексеев так скорострельно и тайно от всех уехали в РСФСР "с помощью Дюшена". Причем (как я уже говорил) белобандита А. Дроздова сразу ввели в редколлегию какого-то толстого советского журнала, а бело-

бандиту Глебу Алексееву в первые же дни в Москве Союз Писателей устроил литературный вечер под председательством старейшего писателя Ивана Новикова. Позднее приехавшие в Берлин Федин и Груздев предупредили меня, чтоб с Алексеевым в переписке я был осторожен, ибо он "плохо пахнет", "дружит" с чекистом Яковом Савловичем Аграновым. Борис Суварин, опубликовавший по-французски свои "Последние беседы с Бабелем"* пишет, что на вопрос, кто такой Агранов, Бабель ответил: — "Блестящая карьера! У него полная власть в районе Москвы, охраняет безопасность правительства. Это — кое-что!". Разумеется! Даже больше чем "кое-что"! Но когда до этого "кое-что" дотянулись Ежовы "рукавицы" и Агранова "шлепнули", очередь пришла и за его служающим. Только чекисты, пришедшие за Глебом Алексеевым, — проиграли. Алексеев успел выброситься из окна и разбился насмерть. Для этого стоило "ворочаться на дорожную родину".

Рената из "Огненного Ангела"

Сотрудничала у меня в "Литературном Приложении" Нина Ивановна Петровская — Рената из "Огненного Ангела" Валерия Брюсова и его долголетняя любовь. Как Рената, Н. И. вошла в символистскую литературу. Но между символистскими временами и "накануневскими" — разверстая пропасть. В прошлом Н.И., вероятно, была привлекательна. Следы былой (пусть не красоты, но) привлекательности в ее облике были. В письмах 1904 года А. Блок писал о ней: "Очень мила, довольно умная". Но в "накануневские" времена это "мила" к Нине Ивановне уже, разумеется, не подходило.

Лет под пятьдесят, небольшого роста, хромая, с лицом намакированным всяческими красками свыше божеской меры, как для выхода на большую сцену, Нина Ивановна, правду говоря, производила страшноватое впечатление. Это была женщина очень несчастная и больная. Алкоголичка, Н. И. почти всегда была чуть-чуть во хмелю, одета бедно, но с попыткой претензии — всегда черная шляпа с сногшибательно широкими

* В. Souvarine. Derniers entretiens avec Babel. "Contrepoint", N 30. 1979.

полями, как абажур. Острая на язык. Я с Н.И. дружил.

Настоящей писательницей Н.И. никогда не была, а сейчас уж и вовсе мало что могла написать. Но хорошо зная итальянский (всю войну прожила в Италии), Н.И. переводила какие-то короткие итальянские новеллы и снабжала ими "Литературное Приложение". Печатал я их (да и Толстой до меня) не из-за их качества, а чтобы как-то поддержать Н.И.: грошовая построчная плата была ее единственным заработком. А она была не одна. Везде и всегда, неразлучно, Н. И. появлялась вместе с своей сестрой Надей, производившей тяжелое впечатление: крошечного роста, с туповатым выражением глаз, с какими-то словно смазанными чертами лица, Надя всегда ходила подруку с Ниной. Ходасевич в "Некрополе" пишет о Наде: — "Существо недоразвитое умственно и физически (с ней случилось несчастье в детстве: ее обварили)... Идиоткой она не была, но отличалась какой-то предельной тихостью, безответностью, была жалка нестерпимо и предана старшей сестре до полного забвения". Думаю, у Нины Ивановны м.б. могла быть и боязнь пространства, и одной ей было трудно выходить, да и свою ушербную сестру одну оставить дома было нельзя. Так они и появлялись всегда вместе.

По роману "Огненный Ангел" Нина была — Ренатой, Брюсов — Рупрехтом, а Андрей Белый — графом Генрихом. В те баснословные года, когда московские декаденты-символисты тшились превратить свои жизни в "поэмы", в "незабываемые миги", в "трепет без конца", Нина Петровская в Политехническом музее в упор из браунинга стреляла в Андрея Белого за то, что он "бежал от соблазна" ее "слишком земной" любви. К ее счастью (и к счастью Белого) браунинг дал осечку. А после разрыва с Белым Нина сошлась с самим "магом" декадентов, с занимавшимся "черной магией", оккультизмом и всякой "дьявольщиной" Валерием Брюсовым ("Берем мы миги, их губя"). Оба пристрастились к морфию ("Где же мы — на страстном ложе/ Иль на смертном колесе"). Помню, как-то Нина Ивановна в некоем подпитии рассказала, как они с Брюсовым были где-то за границей (в Париже, по-моему) и как "весь день, не выходя из номера гостиницы, он в одних подштанниках по номеру со шприцем бегал". Но все имеет свой конец. И "миги"

кончились ("Быть может, всё в жизни лишь средство / Для яркопечущих стихов"). Брюсов довольно грубо бросил Нину, отослав из Москвы за границу. Нина оказалась "на смертном колесе". Здесь она пыталась покончить самоубийством. Ходасевич говорит — она "выбросилась из окна" в Париже. Но Толстой рассказывал иначе, будто Нина Ивановна бросилась под автомобиль в Мюнхене. Как бы там ни было, но попытка самоубийства сделала Н. И. калеккой на всю жизнь: она осталась хромой.

Война застала ее в Риме в ужасающей нищете: просила милостыню, голодала, пила, а порой "доходила до очень глубоких степеней падения" (по Ходасевичу). Алексей Толстой не был густо населен добротой ни к ближнему, ни к дальнему. На тех и других ему было плевать в высокой степени. Но справедливости ради надо сказать: это он вытащил Нину в 1922 году в Берлин и устроил ее сотрудничество в "Накануне". Думаю, из-за того, что она несомненно была неким "живым памятником символизма". Для Нины Берлин был "выходом" из отчаяния.

Я к Нине Ивановне относился хорошо, и мы довольно часто встречались в компании — она (с Надей, конечно), художник Н. В. Зарецкий, поэт Корвин-Пиотровский, я. Всегда, разумеется, с "возлиянием". Без этого встреч с Ниной Ивановной, разумеется, и быть не могло. Да и все мы — надо признаться — выпивали тогда неплохо.

Рассказы Н. И. о баснословных московских годах символизма были красочны. Но будучи человеком "у последней черты" Нина Ивановна постных разговоров не любила. Они ей были пресны. Она любила острые блюда. И рассказы ее всегда были рискованного содержания: — эдакая "обнаженность" прозы. Поэтому полностью многое придать гласности не решаюсь. Но кое-что расскажу. Помню, как после моего доклада в узком литературном кружке о поэзии Ходасевича (меня тогда занимал некий эротический подход к искусству), Нина Ивановна пришла просто в полный восторг. "Роман Борисович, да вы даже не представляете, как вы попали в самую точку! Ведь я же Владислава знаю, как голенького!" И дальше шел довольно нецензурный рассказ о Ходасевиче и его первой жене художнице с каким-то странным наименованием — Коза Роза (что-то в этом роде).

Но, прочтя мою брошюру об Андрее Белом, о бесполости его творчества, Нина Ивановна с таким же азартом стала мне возражать. "Нет, нет, это не то, у вас выходит, что Белый — какая-то полная бесполость. А на самом деле все обстояло не совсем так. Уж мне-то поверьте, я эту тему лучше вас знаю", с хриплым смехом (она много курила), говорила Н.И. — "Ну, конечно, Нина Ивановна, тут вам и карты в руки". — "Ну так вот я вам и говорю: он вовсе был не беспол... Но *это* ему было не так нужно, как другим... Он прекрасно мог обходиться и *без этого*..." — "Ну, стало быть, вы подтверждаете мою тезу?" "Подтверждаю-то подтверждаю, да не совсем". — "Да я и не утверждаю, что *'совсем'*..."

Как-то случайно заговорили о Яшенко, и Нина Ивановна начала хохотать, говоря: — "А вы знаете, что он золотой? Нет?" — "Как так?" — "Да вот так! Я же видела его нагишом, ну совершенно нагишом — и он весь в золотом пуху. А на одной ноге у него большой палец стоит вверх..." — "Да откуда у вас эдакая осведомленность об Александре Семеновиче?" И Нина Ивановна рассказала, что на каком-то таком символистском вечере в Москве, где читались стихи, много пилось, много говорилось о всяких "чарах", "мигах", "одержимости", "оргазмах", когда вечер был в полном разгаре, далеко за полночь, Брюсов предложил потушить электричество и всем раздеться. А через десять минут — зажечь. Согласились. Электричество потушили. И через десять минут зажгли. Что же все увидели? Никто, оказывается, не разделся, кроме Яшенко. Он один стоял голый. Поднялся общий хохот, выкрики. И страшно смущенный Яшенко начал торопливо одеваться, прикрывая свою адамову наготу. Тут-то Нина Ивановна, оказывается, и разглядела, что Яшенко "золотой" и большой палец на одной ноге стоит вверх.

Как-то при встрече с Яшенкой я рассказал ему про этот эпизод, спросив, правда ли, что он золотой? По смущению Яшенко я увидел, что рассказ Нины Ивановны был, конечно, сушей правдой. Но Яшенко все-таки пробормотал: — "Что вы слушаете эту истеричку, врёт она все, ничего подобного никогда не было..." Видно, профессору международного права было неудобно вспоминать свои "шалости амура".

Какие-то чудовишные вешки Нина Ивановна рассказывала

про Бальмонта, которого хорошо знала. Рассказывала, что когда она была женой С.А. Соколова-Кречетова, ведущего издательство "Скорпион", у них часто собирались братья-писатели, художники, актеры, все, кто были близки к тогдашнему декадентству и символизму. И вот раз, за большим пиршеством, она, хозяйка дома, сидела за столом рядом с Бальмонтом. Компания была шумная, большая, ели, пили, говорили, кричали. Потом Нина Ивановна, как хозяйка, встала пойти на кухню о чем-то распорядиться. А в кухне кухарка так вдруг и ахнула: — "Барыня, говорит, да что это вы вся мокрая..." Взглянула я на свое платье и, вижу, действительно, что с одной стороны (с той, с которой сидел Бальмонт) я вся мокрая. Пришлось идти переодеваться". — "Так что же он сделал?", — не совсем догадался я. — "Как что? — недоумевающе проговорила Нина Ивановна, — обмочил меня всю... Нарочно, конечно..." Я выразил свое крайнее удивление, как это он так словчился, а, главное, зачем? — "Зачем? — переспросила Нина Ивановна, — вы не знаете Бальмонта, в другой раз было хуже. Звонит как-то Бальмонт, говорит, хочет зайти. Я ему говорю, что Сергея Алексеевича нет. А он отвечает, что ему его и не надо, поэт хочет видеть меня и читать мне свои стихи... Ну, говорю, приходите. Пришел он, долго сидел, все читал свои стихи, потом позвала меня прислуга, я извинилась, вышла. Возвращаюсь в гостиную минут через пять, Бальмонта нет. Я удивилась. И вдруг вижу — на ковре посредине гостиной оставлена визитная карточка..." "Визитная карточка?" — "Ах, Господи, какой вы, Гуль, непонятливый... Оставил на ковре свои... ну... фекальные массы..." — "Да что вы, Нина Ивановна! Ну, стало быть он просто ненормальный, душевно больной?" — "Ничего не ненормальный... Поэт... Декадент..." — пожала плечами Нина Ивановна.

У Марины Цветаевой есть — "Слово о Бальмонте": "Бальмонт парит в высотах и не желает спускаться, или не желает, или не может? Я бы сказала, что земля под ногами Бальмонта всегда приподнята, т.е. он ходит уже по первому низкому небу земли. Когда Бальмонт в комнате, в комнате — страшно..."

Марина Ивановна любила встать на высочайшие котурны и с них всё видела сюрреалистичным. Помню, как Алексей

Толстой говорил о Бальмонте: — "Да он же сумасшедший, он свою жену по голому животу палкой бьет!". Не знаю, был ли это очередной "анекдот" Толстого или какая-то правда о "декаденстве" Бальмонта? Но как бы то ни было Бальмонт полноправно вошел в русскую поэзию, заняв в ней свое место:

"Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце,
А если день погас,
Я буду петь... Я буду петь о Солнце
В предсмертный час!"

Несколько раз Нина Ивановна говорила, что хочет прийти к нам, познакомиться с моей матерью. Я не очень спешил с приглашением, ибо понимал, что моя мать и Нина Ивановна — люди совершенно разных миров. Но Н. И. так настаивала, что наконец я ее пригласил. Она пришла, конечно, вместе с молчаливым уродцем Надей. Пили чай. Для Нины Ивановны я приготовил вино. Но визит был явно неудачен. У мамы с Ниной Ивановной никакого "общего языка" не нашлось. И когда Н. И. и Надя ушли, мама только сказала: "Какая-то странная и какая-то несчастная женщина..."

Нина Ивановна и была — странная и несчастная. Помню, как о смерти в Москве Валерия Брюсова первым сказал Нине Ивановне я. Она принесла очередную итальянскую новеллу для "Литературного Приложения". Я сказал ей, что телеграф сообщил, что умер Брюсов, и показал только что сверстанное "Литературное Приложение" с большим портретом В. Брюсова на обложке. Нина Ивановна как-то потемнела в лице, ничего не сказав, взяла "Литературное Приложение" и долго-долго (как застыв) смотрела на Брюсова, потом тихо, даже будто с трудом, произнесла почему-то: — "Да... Это он...". И отложила газету. Мне всегда казалось, что бедная Рената всю жизнь любила Рупрехта, который жестоко разбил ее жизнь.

Когда "Накануне" кончилась, Нине Ивановне не на что стало жить, и она решила на последнее: ехать в Париж в надежде, что ей поможет там глава Нансеновского Комитета Василий Алексеевич Маклаков и старый ее друг Владислав Ходасевич. Дело в том, что в дни молодости Нины Ивановны Маклаков (великий женолюб) без памяти был в нее влюблен и,

как мне говорили сведущие люди, готов был будто бы даже на ней жениться. Но Нина Ивановна, жившая среди декадентов и создававшая из своей жизни "трепетную поэму" и "творимую легенду", блестящего Маклакова, тогда уже знаменитого адвоката, — отвергла. Он для нее был слишком "реален". Теперь же, через много десятилетий, Нина Ивановна (с Надей) уехала в Париж, надеясь на его помощь. Знаю, что в Париже она сразу же пришла в "офис" Маклакова, но, увы, Василий Алексеевич был только "формален", что-то посоветовал, куда-то направил и всё. Ходасевич же, сам перебивавшийся с хлеба на квас литературным заработком, тоже ничем существенным помочь не мог. И в Париже, кроме нищеты, несчастную Ренату скоро постигло самое большое горе: умерла ее сестра-уродец Надя. Мне говорили близкие к Н. И. люди, что предела ее отчаянию не было. Когда сестра лежала в гробу, безумная Нина бросалась к ней, покрывая ее лицо и руки поцелуями, крича какие-то сумасшедшие слова: "Надя, ты помнишь минуты нашего наслаждения!... Надя, не оставляй меня!.." В припадке отчаяния Нина Ивановна ковыряла иглой руку мертвой Нади и потом свою, хотела отравиться "трупным ядом". Но из этого ничего не вышло. И, похоронив последнюю близкую ей на земле душу, Нина Ивановна покончила с собой, открыв газовые краны в своем убогом жилище. Таков был конец жизни—"поэмы" Ренаты из "Огненного Ангела". Это было 23 февраля 1928 года.

Н. В. Зарецкий

Художник Николай Васильевич Зарецкий был другим сотрудником "Литературного Приложения", с которым я близко сошелся. Привела его ко мне Нина Ивановна, подружившаяся с ним на той же (более-менее) почве Бахуса. Но Зарецкий никаким алкоголиком не был, был вообще человеком совсем иной породы и из своей жизни "поэм" не творил. Всепоглощающей страстью его была русская старина: фарфор, хрусталь, гравюры, картины. Ему бы жить в 18-м веке (в начале).

Бедная (но большая) комната Зарецкого была вся заставлена, как у антиквара: на окнах, на столах, на полках по стенам — козловские, тереховские, поповские, гарднеровские,

кузнецовские чашки, блюда, тарелки, вазы, енды, граненый хрусталь, графин с сидящим мужичком на серебряной пробке. Всё — только русское. И всё это Николай Васильевич вывез в эвакуацию, когда люди спасали жен, детей, отцов, матерей.

Я такой страсти к *вещам* никогда не понимал. Лишен почти вовсе. Но в Н. В. ее ценил, ибо видел, что это подлинная *страсть*, которой он *живет*. В Берлине Н. В. здорово бедствовал, но ему и в голову не могло прийти продать что-нибудь из его старины, а продать это было нетрудно.

— Вот этому графинчику с мужичком, который тебе нравится, около двухсот лет.

— Ну вот и продай его, Николай Васильевич.

— Да ты што? А как же я буду без него? Не могу так же, как и без флигель-адъютанта (он указывает на висящий на стене портрет флигель-адъютанта императора Николая I-го Ростовцева). Я нашел его в гражданскую войну в Екатеринодаре на толкучке. Торговал три дня. На последние колокольчики купил. Домой бежал, как помешанный, от радости. Ты взгляни, что за лицо? а улыбка? какова улыбка? а рука? рука? И кисть-то какая! Академика портретной живописи Будкина — знаменитая кисть!

Как художник Н. В. был малопродуктивен, больше все предавался "творческой лени", к тому ж никаких "деляческих" талантов у него не было. Он написал мой портрет, но, по-моему, это больше был Баратынский, иль Батюшков, иль Дельвиг, чем я. Но все же Н.В. был подлинным художником и кроме искусства у него ничего в мире не было.

В молодости был он корнетом Иркутского драгунского (тогда — еще не гусарского), полка, был адъютантом командира бригады генерала Ренненкампа. Но быстро все бросил и пошел в Академию Художеств, где учился у Ционглинского. Кстати, в Берлине его навещали приезжавшие из Сов. России старые друзья. Так у него я познакомился с известным искусствоведом Яремичем. Был Н.В. "мирискусником", но не из крупных. Все же у меня остались кое-какие его прелестные вещи: цикл в восемь больших акварелей "Петрушка" — народно-лубочно-русский. Я подарил "Петрушку" в русский ценный музей моего друга Томаса Витни (Коннеттикут), чтоб не пропали после моей смерти; были эскизы костюмов к персонажам "Пиковой Дамы" (гуашь),

небольшие акварели — "Пушкин в Тригорском" и "Тройка". Николаю Васильевичу надо бы жить в пушкинские, а не в наши дни. В "Литературном Приложении" я давал ему подработать отзывами о художественных книгах, о книгах по искусству.

После конца "Накануне" Н. В. переехал в Прагу, где ему жилось легче. В Праге он организовал собранную им замечательную выставку "Рисунки русских писателей", о которой восторженно отзывался такой знаток русской литературы, как профессор Дмитрий Иванович Чижевский. Скончался Н. В. после второй мировой войны во Франции, недалеко от Парижа, в русском старческом доме в весьма преклонном возрасте.

У нас в Берлине Н.В. бывал часто, обычно — к обеду. Вся наша семья его любила. Но особенно хорошо к Н.В. относилась моя жена Ольга Андреевна, которая меня иногда журила, что я отношусь "к старику" не так интегрально, как он относится к нам. Жене Н. В. даже как-то подарил самим им прекрасно обрاملенные две гравюры ее предков — графа Ф. П. Толстого и графа А. К. Толстого. Эти гравюры так и висят до сих пор над моим письменным столом. Журения жены были, по-моему, не верны. Я Н. В. и ценил как художника, и любил как благороднейшего, чистого и очень русского человека.

Моя жена Ольга Андреевна

Мы поженились 27-го июля 1926 года в Берлине, когда "Накануне" уже приказала долго жить и я работал в немецком издательстве "Таурис". С Олечкой мы счастливо прожили 50 лет (двух месяцев не дотянули до золотой свадьбы). Пиша об Олечке, мне, пожалуй, легче будет рассказать с конца нашей жизни, с ее смерти, ибо умерла она всего три года тому назад, оставив меня бобылем в мире. После ее смерти я — чтоб не забыть — наговорил на кассету всё о ее предсмертной болезни и смерти. С этого я и начну. Приведу запись так, как она есть, со всеми ее длиннотами и отступлениями:

"Я хочу записать на этой ленте всё, о болезни и смерти Олечки. Хочу вспомнить все подробности. Это было 22-го февраля 1976 года. Мы встали, как обычно. Рано Олечка вставать уже не могла. Из-за высокого давления крови доктор ей не советовал. Вставали мы так часов в восемь.

Встав, я пошел в нашу так называемую "ливинг-рум", окна которой выходят на 113-ю улицу Вест. Стоя у окна, я увидел человека, ведшего на леске собаку. Так как на нашей улице мы с Олечкой всех собак знали, и Олечка и я любили животных, я кричу Олечке, которая шла по коридору: "Олечка, посмотри, какая новая собака хорошая!". Она заспешила к окну, но у самого окна, на ковре, вдруг упала. Я схватил ее, поднял. Я не придал этому особого значения, потому что у Олечки в последнее время от артрита ослабели ноги.

Когда я ее поднял, мы пошли на кухню завтракать. И все было, как всегда. Позавтракали. Олечка говорит: — "Ну, теперь я пойду посижу на своем обычном месте". Обычным местом было большое кресло в этой же "ливинг-рум" (гостиная, что ли, по-русски говоря). Но до кресла Олечка почему-то не дошла, а села на маленький, не особенно удобный диван, где обычно никогда не сидела. А я пошел в свою рабочую комнату. Вдруг слышу звук падения тела. Я бросился в гостиную, вижу Олечка лежит на полу. Говорю: — "Что с тобой, Олечка?!" — и пытаюсь ее поднять. Она отвечает: — "Нет, нет не трогай меня. Я сама себе ставлю диагноз. У меня или опухоль в мозгу или паралич левой стороны". Я говорю: "Что ты, Олечка, я сейчас тебя подниму". — "Нет, нет, не трогай, ты меня все равно не поднимешь!". Я понимал, что Олечка боится за мое сердце (после инфаркта мне запретили поднимать тяжелое). Я все-таки пытался ее поднять, но не было никаких сил, не мог. Теперь-то я понимаю, что это потому, что у нее уже была парализована левая сторона. Я бросился к телефону, вызвать нашего "суперинтендента", мистера Лестажа, но никто не ответил. Я позвонил к русским друзьям — Е.Г. Карюк, которая жила на шестом этаже. У нее квартировал американец-студент. Я думал, он поможет, но тоже никто не ответил. Я был в отчаянии. Кого позвать? Не могу же я оставить Олечку на полу. И решил позвонить в аптеку нашим приятелям-фармацевтам, пакистанцам. Позвонил, к телефону подошел Рафик Чедри, который к нам очень хорошо относился. Он сказал: — "Через три минуты я буду у вас".

Действительно, через три-четыре минуты он был у нас (аптека — наискось от нашего дома). Он стал поднимать Олечку. Я хотел ему помочь, но он говорит: "Нет, мистер Гуль, не

мешайте мне, не мешайте, я лучше один". Он приподнял Олечку, обхватил ее, так сказать, поперек живота и понес в ее комнату. Я видел, как ему это было тяжело, но он донес ее до кровати. Мы уложили Олечку. Рафик сказал, что если только что-нибудь нужно — звонить ему и он сейчас же придет.

С Олечкой я разговаривал, спрашивал, как она себя чувствует? Она говорила, слегка, может быть, запинаясь, но говорила вполне ясно. Только левая рука у нее, я видел, была парализована. Я тут же позвонил нашему доктору Ковалеву, рассказал ему всё. Он говорит: "Я приду в два часа, посмотрю и тогда мы решим, что делать".

Но вскоре я увидел, что у Олечки парализована левая сторона лица. Я тут же опять позвонил Ковалеву. Он сказал: "О, это нехорошо, я сейчас же приеду". Он приехал, посмотрел и сказал, что нужно немедленно везти в госпиталь. Я понимал, что это нужно, ибо видел, что положение Олечки ухудшилось. Ковалев уехал, вызвав автомобиль "скорой помощи", и я стал его ждать.

На этот раз люди "скорой помощи" приехали какие-то неопытные и грубые два негра, не привезли с собой кресло для больного и, положив Олечку на носилки, пытались ее вынести из квартиры на носилках. Но это было невозможно, носилки не проходили в дверь. Я разозлился, закричал, что таких вещей не делают, что я не позволю так выносить, если у них нет больничного кресла, я принесу обычный стул и они должны на нем ее вынести и спустить в лифте вниз. Быстро я принес из кухни стул, посадили Олечку, привязали ремнями, она была совершенно молчалива, ничего не говорила, как будто все это ее не касалось.

Привязав ее к стулу, мы спустились в лифте вниз, там положили на носилки, и я поехал с Олечкой в госпиталь. Госпиталь Святого Луки — наискосок от нашего дома, но они сделали, как всегда, по улицам круг. Комната в госпитале была уже готова, — с четырьмя окнами, большая, прекрасная, для одного пациента (ее заказал Ковалев), постель со всякими устройствами (поднимать выше, опускать и пр.), всё очень хорошо. Но сестры мне сказали, чтобы я уходил, потому что они будут Олечку обмывать и готовить для осмотра доктором, и чтобы я пришел позднее.

Когда я пришел часа, вероятно, в два-три, Олечку уже вымыли, чистенько всё, она лежала в постели. Лицо у нее было слегка искривлено, но она разговаривала, хотя и не совсем отчетливо, и очень обрадовалась моему приходу. Я сидел у ее постели, говорил с ней, держа ее руку в моей руке, гладил по щеке. Когда ей принесли еду, я накормил ее с ложки, она ела, всё казалось, не так плохо, но когда пришел Ковалев и слегка осмотрел ее (он уже и раньше был у Олечки) он мне в коридоре сказал, что положение очень серьезно, почки почти не работают. Это установил доктор Коренман, специалист по почкам.

Вечером этого дня я опять пришел в госпиталь. Туда же пришла Утя Джапаридзе и Рафик Чодри. Рафик разговаривал с Олечкой, она отвечала ему по-английски вполне понятно. Он спрашивал ее, что вы хотите, миссис Гуль, чтоб я вам принес из аптеки? Олечка говорила какие-то пустяки — "принесите мне "Хит", у меня болит спина". Но мне казалось, что она вполне сознает свое тяжелое положение.

Вечером, когда принесли обед, я опять ее накормил с ложки, во время обеда вошел Ковалев и говорит: "О, как хорошо у вас идет дело!". Я говорю: "Да, идет хорошо. Олечка ест, все как следует". Но это, конечно, было только обычное докторское ободрение больного.

На другой день я опять пришел в госпиталь. Обычно приходиться можно было к завтраку. Вот я к завтраку, часам к 12-ти всегда и приходил. Я заметил у Олечки некоторое ухудшение в смысле речи, но все-таки она говорила со мной и несколько раз сказала: — "...ах, как ты без меня справишься со всем... не справишься ты без меня..." — я видел, *это* ее мучило.

Вечером опять пришли друзья — Утя Джапаридзе, Е. Г. Карюк и Рафик Чодри. Олечка всех узнала, так что ничего такого страшного, как будто, не было. Но Ковалев мне уже сказал, что почки работают очень плохо, а это — главное. Олечкину постель окружили всякими какими-то аппаратами, стали делать какие-то перманентные впрыскивания для мочеиспускания, для улучшения деятельности почек, но все-таки я видел, что пузырь, который лежал у нее на постели, наполнялся очень плохо. И я заметил сильную опухоль ног и, особенно, левой руки. Так продолжалось несколько дней. Все-таки каждый

день я кормил Олечку, она говорила. Как-то даже (когда я погладил ее по щеке) она улыбнулась с трудом и сказала: "Киска, какой ты ласковый". Я старался сдерживать при ней слезы, но это не всегда удавалось. В другой раз я пришел, когда Олечка спала. Я тихо сел у ее постели, не хотел будить. Но вдруг она открыла глаза и, увидев меня, совершенно ясно произнесла: "Куда же ты делся?". Я понял, что этими словами она отвечает какому-то своему сну. Сказав это, она тут же закрыла глаза и опять впала в полузабытье.

В один из дней, когда я пришел, я увидел, что Олечке поставили аппарат искусственного питания (вливание в вену глюкозы) и речь у нее почти отнялась. Она говорила, вернее пыталась говорить, но понять ее было уже трудно. Тем не менее я видел по ее глазам, что она меня сразу, конечно, узнавала. Я брал ее руку, и она мою руку сжимала...

Так шли дни за днями и даже недели за неделями, я приходил всегда два раза в день — утром и вечером, оставаясь до самого позднего часа, до которого разрешали, — до 8 часов. Обычно мы уходили втроем: я, Утя и Рафик. С каждым днем я видел, что состояние Олечки все тяжелее. Она начала задыхаться. И один раз, когда я пришел, я увидел, что она совершенно задыхается, вероятно, она не могла откашлянуть мокроту, у нее шла слюна. Доктор Ковалев раньше говорил мне, что в крайности можно поставить кислородную маску. И тут, увидев, что Олечка задыхается, я бросился к главной сестре милосердия, и говорю ей: "Пожалуйста, поставьте скорее кислородную маску, моя жена задыхается".

Сестры в госпитале, в большинстве, были очень милые (и белые, и черные, и какие-то желто-восточные), но эта китайка оказалась страшной стервой. Она мне резко ответила, что ничего делать не будет, пока ей не скажет доктор. Я говорю, доктор уже сказал... "Он, — говорит, — сказал вам, а не мне". Тогда я бросился к телефону, позвонил Ковалеву, но не застал его в офисе, позвонил его жене-американке, которая была очень любезна и сказала, что тут же передаст ему, как только он придет, чтоб позвонил в госпиталь по телефону. И действительно, минут через 10 Ковалев позвонил, вызвал сестру и приказал поставить кислородную маску.

Ну, эту кислородную маску надели. Вещь довольно страшная, но все-таки дышать Олечке стало как будто легче. Но это был момент, когда я уже понял, что благополучного исхода быть не может. Тем более, что доктор Коренман категорически сказал, что положение ухудшается. Все-таки ежедневно я все время сидел около Олечки, и видел, что она меня узнает, хоть сказать уже ничего не может. Но когда я брал ее руку, она мою руку сжимала.

В один из моих приходов в госпиталь пришла какая-то женщина в форме сестры милосердия, китайка, очень милая, оказавшаяся женой профессора Колумбийского университета. Она пришла как работник социального обеспечения. Сказала, что знает, что положение жены тяжелое, но что если ей станет настолько лучше, что искусственное питание будет прекращено, то госпиталь держать ее не будет и тогда ее нужно поместить в "нёрсинг-хом" (дом для выздоравливающих, больных, престарелых). Китайка спросила, есть ли у меня какие-нибудь сбережения? Я назвал ей сумму моих замечательных сбережений. "Ну, вот, — говорит, — вы тогда должны будете платить 1.600 долларов в неделю". Я говорю: "Хорошо, но этого же хватит очень ненадолго, а потом что?" — "А потом — говорит, — за нее будет платить город (медикэйд)". Я знал, что эти "нёрсинг хомы" вещь совершенно ужасная. В особенности те, где за пациентов платит город. Но делать нечего. Сказал: "Хорошо".

Олечка все таяла и таяла. Я приходил по-прежнему ежедневно. Приходили те же наши друзья. Но глядя на Олечку, я видел, что мой приход ей уже не нужен потому, что она не видит меня. Я старался попасть в фокус ее глаз, но взгляд ее уже был такой затемненный, стеклянный, что было ясно, что она меня увидеть не может.

Так шло время. Заболела она, как я говорил, в конце февраля, а пролежала весь март, и к концу марта началось безнадежное ухудшение. Как-то я спросил Ковалева, что вы, доктор, думаете, это может долго длиться? Он меня жестом вызвал в коридор и там сказал, что несмотря на то, что больной в бессознании, он может услышать голос и даже понять сказанное. Меня это удивило (я не знал об этом). Ковалев сказал, что не думает, что такое состояние бессознания может длиться

долго, что конец может наступить скоро.

Все продолжалось так же, я ежедневно ходил в госпиталь. Ковалев все мне говорил: держитесь, принимайте свои таблетки, от сердца, потому что, если вы еще сейчас заболите, это будет уже полная катастрофа. Я старался держаться, как мог. И действительно, хоть это мне самому было странно, несмотря на такое нервное потрясение и напряжение, я не чувствовал сердечных болей или недомоганий. Нет, я держался, только была страшная усталость.

Когда Олечке было уже совсем плохо, и она задыхалась, я сказал Ковалеву, что хочу, чтоб она умерла при мне. Он говорит: "Я вас понимаю... и если вас не будет, вас вызовут; сначала, говорит, известят меня как доктора, а я уже вызову вас". И вот в ночь на 4-е апреля, когда я, усталый и совершенно изнемогший, спал, в 3 часа ночи мне позвонил Ковалев и сказал: "Ваша жена умерла, если хотите, приходите немедленно, потому что ее оставят в комнате только 20 минут и потом отвезут в морг". Я очень хотел придти, но у меня не было никаких сил. Я говорю: "Доктор, я не могу сейчас придти". Он говорит: "Это и лучше, не приходите, потому что это ни к чему, они сейчас ее уже вывозят". И вот так... Олечка умерла...

Я забыл сказать, что в госпитале Олечку несколько раз навещал наш друг, священник Александр Киселев. Исповедовал ее и причастил. Олечка была по-настоящему религиозна. Похороны Олечки я хотел назначить возможно скорее. Чин отпевания служил отец Александр в Свято-Серафимовской церкви на 108 улице. Народу было много, друзей и даже тех людей, кого я не ожидал, что придут. Пел хор, отпевание было хорошо отслужено. Олечка лежала в гробу посреди церкви. Когда я подошел к ней проститься навсегда, я долго смотрел на ее лицо. Оно было удивительно спокойное и даже с какой-то улыбкой. Впрочем, покойники в большинстве своем умирают с лицами упокоенными. Когда я подошел к гробу Олечки, я хотел сдержать рыданье, но у меня вырвался какой-то неожиданный полустон. Склонившись, я поцеловал Олечку несколько раз в лоб, потом поцеловал ее руки... отойти от гроба было трудно, и я, сделав несколько шагов, вынужден был сесть на стул, стоявший у стены неподалеку от гроба.

Так я сидел, пока к гробу подходили все присутствовавшие в церкви, прощаясь с Олечкой. Потом, как всегда, какие-то человеки из похоронного бюро подошли, закрыли гроб, завинтили, и повезли к выходу.

Тут я должен сказать, какую неоценимую помощь в моем горе оказала мне Ксения Владимировна Радыш наш друг и секретарь "Нового Журнала". Ксения Владимировна хотела сначала тоже приходить в госпиталь. Но я просил ее этого не делать, потому что знал, как Ксения Владимировна занята и дома, и в журнале, а, главным образом, как она занята по уходу за какими-то ее больными пожилыми друзьями, которых она вечно кормит, опекает, ухаживает за ними. И я просил ее в госпиталь не приезжать. Но когда Олечка умерла и я был в тяжелом состоянии, Ксения Владимировна взяла на себя все хлопоты по тому, чтобы Олечку одеть, поехала в похоронное бюро Петра Яремы, который должен был взять тело из морга и привезти в церковь. Мы с Ксенией Владимировной выбрали черное Олечкино платье, белье, чулки, ботинки, все что надо, и в похоронном бюро Ксения Владимировна всё сделала. Причем я ее очень просил, чтоб в этом бюро Олечку ни под каким видом не гримировали. Хотя это бюро и принадлежит русскому или украинцу (я не знаю), но оно уже стало американским, а в них всех умерших гримируют. Мы видели с Олечкой, как лицо одной нашей знакомой, покойной Э. Э. Бражниковой, с которой Олечка была очень хороша, нагримировали так, что Олечка и я ужаснулись. По моей просьбе с Олечкой этого не произошло, она лежала в гробу так, как умерла.

Ну вот. Когда гроб вывезли из церкви, мы вышли за ним. Лимузины уже стояли. В одном поехали Ксения Владимировна, Ксения Георгиевна Чикаленко, Элли Оскаровна Хомякова. В другом Франтишек Силницкий, Коля Карюк, кто-то еще. В третий сели отец Александр, Утя Джапаридзе и я.

Лимузины тронулись в православный женский монастырь Ново-Дивеево, в Спринг Валлей, в 40 милях от Нью Йорка. Этот монастырь основал замечательный человек, отец Адриан Рымаренко, свойственник Ксении Владимировны, она первым браком была за его сыном, погибшим при бомбардировке Берлина. Через час с лишним приехали в Ново-Дивеево. Ксения

Владимировна заранее взяла на себя хлопоты и по выбору могилы, и по уплате за место для двоих (для Олечки и для меня), выбрала она очень хорошее место, совсем у дороги, так что всегда удобно подъехать.

В Ново-Дивееве на кладбище очень хорошо. Большая-большая поляна в лесу. На ней множество русских могил, кругом — лес, тишина, поют птицы. Могил — целое море. Могила Олечки была уже вырыта. Могильщики ждали. Отец Александр отслужил краткий чин погребения. Гроб опустили, я бросил первые комья земли, бросал я их и в могилу отца в Пензе, и в могилу матери во Франции, только брат умер в Гаскони без меня.

Ну вот. Могилу закопали. Мы все пошли в монастырскую столовую, где была приготовлена скромная монастырская трапеза. Очень хорошо. Люди в монастыре все милые, русские. Во время трапезы Ксения Владимировна мне сказала, что говорила с отцом Адрианом (он был уже возведен в сан епископа Роклэндского под именем Андрея) и он, несмотря на свою болезнь, хочет, чтоб я к нему пришел. Он меня знал по каким-то моим книгам и по печатным выступлениям против, так называемой, "автокефалии" митрополичей церкви, "дарованной" ей Московской Патриархией.

Я много слышал об отце Адриане от самых разных людей, как о человеке необыкновенном, почти святом. И с большим удовольствием согласился к нему пойти, хотя знал, что он тяжело болен, не выходит уже из своей комнаты. Ксения Владимировна ввела меня к нему. В прихожей маленького домика нас встретил его секретарь князь Мышецкий, который вместе с ним попал на Запад из Киева и которого отец Адриан и его покойная матушка пригрели в СССР, когда он был еще подростком.

Когда я вошел к отцу Адриану, я был поражен его лицом. Его лицо... этого не опишешь и об этом не скажешь. Лицо было какое-то светящееся, лучистое. Отец Адриан полулежал в кресле, ноги вытянуты на какой-то подставке. Подняться без чужой помощи он уже не мог. Руки у него дрожали. Я подошел под благословение. Мы сели. Ксения Владимировна крепко держала его руки, чтобы они не так дрожали, и ему это, вероятно, было

приятно. Он начал со мной говорить тихим, приятным, душевным голосом. К сожалению, я не могу воспроизвести того, что отец Адриан говорил, потому что я был в очень тяжелом душевном состоянии. Отец Адриан был человеком исключительной веры и исключительного православия, такой вере можно только завидовать, но достичь ее, вероятно, очень трудно. Сначала он мне говорил, что я не должен убиваться, что я скоро увижусь с своей женой, так же как он увидится со своей умершей матушкой... Все это было очень просто, очень хорошо, очень душевно. Потом он перешел, уж я не помню по какому поводу, на Достоевского и процитировал на память что-то из его "Луковки". Заговорил о Достоевском вообще и я увидел, что ум у него совершенно ясный, несмотря на болезнь и преклонный возраст, память — удивительная. Я подумал, что многие, так называемые, достоевсковеды могли бы позавидовать отцу Адриану, как он знал этого писателя и как его понимал. Потом я задал ему какие-то вопросы о нем самом. Он стал вспоминать, как учился в Петербургском Политехническом Институте, как пришел к вере. Рассказ был совсем простой и в то же время чрезвычайно пронизывающий и убедительный. Глядя на него, я невольно вспомнил о старце Зосиме. Отец Адриан был именно такого типа — в миру и совершенно вне мира. Когда он рассказывал, как пришел к вере, он упомянул Оптиную пустынь. Я спросил его, бывал ли он в Оптиной? Он рассказал, как был в Оптиной, каких последних старцев встречал. От Ксении Владимировны я знал, что отец Адриан провел чрезвычайно трудную жизнь в Советском Союзе. Его жестоко преследовали. А последние два года, кажется, он тайно прожил в какой-то камерке заставленной шкафом, скрываясь от ареста (ему отказано было в прописке в Киеве).

Я боялся, оставаясь долго, утомить отца Адриана, но он всё нас удерживал. Видно было, что он действительно хочет утешить меня и утешить не грубо какими-то сусальными словами, а большой верой в Бога, в загробную жизнь и верой, что я еще встречу Олечку...

Но все-таки чересчур долго оставаться я не хотел, хоть отец Адриан несколько раз и задерживал нас. А когда стали прощаться и я опять подошел под его благословение, поцеловав

его руку, он вдруг взял мою руку и поцеловал ее тоже. Тут я не мог удержаться от слез. Я видел, что и у Ксении Владимировны глаза полны слез. Отец Адриан просил меня, чтобы когда я буду приезжать на могилу, — обязательно приходил к нему, он хочет со мной еще встретиться. Я был ему благодарен. И вышел от него действительно каким-то облегченным в своем горе.

Расселись мы опять по этим самым лимузинам. Я с отцом Александром и Утей Джапаридзе. И невольно с отцом Александром я заговорил об отце Адриане, сказав, что он человек совершенно необыкновенный. Я действительно, впервые в жизни встретил такое духовное лицо. И за рубежом и в России *таких* я не встречал. Отец Александр, знавший о. Адриана еще по Германии, вполне со мной согласился, сказав: "Да, да. Таких у нас мало. Это наш старец Зосима".

Ну, приехали мы в Нью Йорк, приехал я к себе на 113-ю улицу. И трудно было войти в опустевшую квартиру, где мы с Олечкой прожили 26 лет. Квартира пуста. Стоят в спальне две наши постели, одна — ее — пустая; стоит кресло, в котором Олечка всегда сидела, без нее оно тоже — пустое. Так и почувствовал я свое одиночество. Но старался взять себя в руки, говоря себе: — тебе уже 80 лет, жить недолго...

Так вот и живу. Один. Есть друзья, которым благодарен, что они есть. Работаю, пишу вот эту книгу, предсмертные мемуары. Хочется рассказать все, что пережил за рубежом с 1919 года. Да и не за рубежом только. Та (русская) жизнь входит в эту (зарубежную) жизнь. И всё связано Россией, русской культурой, близкими людьми, воспоминаниями. Ну вот. Если все это напишу так, как хочу, то может быть буду чувствовать некое удовлетворение, что выполнил какой-то "заказ". Может быть, кому-нибудь моя книга — эти воспоминания: и о матери, и об Олечке, и о брате, и о всей семье, и все наши зарубежные переживания и вся русская зарубежная жизнь — не так уж будут чужды. Может, люди прочтут с чувством разделения чувств автора. Этого бы я только и хотел".

На этом магнитофонная запись кончается.

По смерти Олечки я получил много сочувственных, соболезнующих писем — хороших, душевных (были м.б. и формальные), но не обыденное письмо, глубоко меня тронувшее,

я получил от Александры Львовны Толстой:

"Alexandra L. Tolstoy
Tolstoy Foundation Center
Valley Cottage N.Y. 10989

10 апреля 1976 года

Дорогой Роман Борисович,

Эти последние дни о Вас думаю с глубоким сочувствием и душевным пониманием тех переживаний и страданий, которые сейчас посланы Вам Богом. Словами ничего не выскажешь. Эти переживанья так глубоки, так сложны и только люди, пережившие незаменимую утрату в жизни, могут понять. Как ни странно, но большее всего и труднее всего вспоминать ту глубокую, внутреннюю связь, которая существует между близкими навеки. Может быть эта духовная связь не пропадет никогда.

Иногда со страшной болью невозвратимого вспоминаются: интонация голоса, выражение глаз, руки. После смерти отца я с особенной болью вспоминала завитки волос над его старенькой шеей. И плачешь, сокрушаясь, вспоминаешь эти невозвратимые мелочи. В голову не приходит, что тот кто ушел от нас, перестал страдать и ему легче, а думаешь только о своей утрате.

Буду продолжать думать о Вас и поминать в своих грешных молитвах Ольгу Андреевну.

Крепко жму Вашу руку и желаю Вам душевных сил, чтобы пережить Вашу тяжелую утрату и продолжать самоотверженную деятельность на пользу нашей родины.

С искренним уважением и сочувствием,

Ваша Александра Толстая".

Я тут же ответил Александре Львовне:

"22 апреля 1976 года

Дорогая Александра Львовна,

Вчера вечером я получил Ваше письмо, здесь во Флориде. Большое спасибо за него. Не скрою, что плакал над Вашим письмом — до того оно душевное и понимающее. Да, именно все

это я и чувствую, именно все это и вспоминаю. Остановился я нарочно в том же мотельчике, где мы с женой уже лет шесть проводили либо март либо апрель, и в том же самом помещении. Друзья отговаривали, но я не только не избегаю этих воспоминаний-страданий, а хочу их. С ними — лучше. И Вы меня в этом, конечно, поймете. Спасибо Вам еще раз от всей души.

Целую Вашу руку, искренне Вам преданный
Роман Гуль

Поблагодарите пожалуйста и Татиану Алексеevну Шауфус за сочувственную телеграмму и Теймураза Константиновича Багратиона за сочувственное письмо”.

Потеря любимого на земле человека и одинокость после потери — страшная вещь. Но есть утешение в том, что именно тогда наступает некая *высветленность* твоей любви, ранее обычно затемненная обыденной жизнью. Именно тут наступает чистое *откровение любви*. И душа находит в этом и утешение и получает общение с потерянным.

Помню, в ”Литературное Приложение” из Москвы прислала мне простенькое стихотворение неизвестная поэтесса Екатерина Галати. Ни до ни после я о ней ничего не слышал. М.б. псевдоним? Я стихотворение напечатал. И почему-то запомнил. И не только я, но, помню, все в семье обратили на него внимание: жена, мать, даже брат, вообще стихи не жаловавший.

Как мудрый отравитель, время
Поит нас незаметным ядом.
Нежней нежнее будьте с теми,
Чье сердце бьется с вами рядом.
Словам и клятвам верьте, верьте!
Непрочно пламя в хрупком теле.
Ведь только после нашей смерти
Нас любят так, как мы хотели.

Две последние строки, это именно — *о высветленности любви после смерти, об откровении любви после смерти.*

Олечка была на два года моложе меня. Родилась в селе Рамзай Пензенской губернии. Отец — земский врач Андрей

Иосифович Новохацкий. Дед — Иосиф Тарасович — важный барин: действительный статский советник по чину и управляющий Пензенской Казенной Палатой по должности. То-есть — "министр финансов" Пензенской губернии. Происходили Новохацкие из черниговских дворян-помещиков. Говорят, в давние времена были Новохатные, потом Новохатские и наконец (обрусев) Новохацкие. У Иосифа Тарасовича было несколько имений. Пензенской Казенной Палатой он управлял, вероятно, хорошо потому что и умер, стариком, в этой должности. Но имения все промотал. И, как мне рассказывала Олечкина мать, Софья Федоровна, — пропустил всё на дам не особенно "тяжелого" поведения. После смерти И. Т. в его письменном столе, будто бы, нашли множество стопок всевозможных счетов, перевязанных разноцветными, веселенькими ленточками. Посему только один его старший сын Андрей Иосифович окончил высшее учебное заведение: медицинский факультет Московского Императорского Университета. Ему предлагали остаться при университете для подготовки к профессорской кафедре, но А. И. — *по призванию* — пошел в земские врачи: хотел *помогать народу* (в те времена такие люди были часты, сейчас в СССР наверное маловато).

Женившись на Софье Федоровне Каменской, А. И. стал земским врачом в большом селе Рамзай недалеко от Пензы (теперь, кажется, Рамзай переименован в "город", не знаю почему, ибо Пенза-то в советские времена превратилась в "деревню"). В Рамзае семья Новохацких жила в имении Константина Григорьевича Данилевского (сына известного писателя Григория Петровича Данилевского — "Девятый вал", "Мирович" и др.). Наша семья одинаково дружила и с Новохацкими и с Данилевскими, и там, в Рамзае, у моего отца была чудесная дача под названием "Кочка" — над прудом, в широкошумной дубовой роще, зеленая трава которой летом становилась голубой, когда в изобилии цвели лесные незабудки. А дубов таких (в два обхвата взрослого человека) я нигде в Европе не видал.

У Новохацких было четыре дочери, двух старших, Наташу и Аню, моих сверстниц, я помню с отрочества. Младших же, Олечку и Софу, я увидел только в 1914 году, когда в Москве

студентом приехал к Софии Федоровне в Николаевский Институт, где она была инспектрисой. Андрей Иосифович умер рано, 36 лет. Его страстью были лошади и вдвоем с кучером они объезжали молодую тройку, тройка их и разомчала, да так, что А.И. оказался под коляской. После этого у него появилась опухоль, быстро перешедшая в злокачественную (саркома), и он вскоре умер, оставив без всяких средств жену и четырех девочек. Тут Софья Федоровна и стала инспектрисой в Николаевском Институте. Кстати, о лошадях. Нигде в Европе лошади по-моему никогда не "разносили". Вели и ведут себя культурно, демократически. Я в Европе бывал задолго до революции — мальчиком с родителями. В России же лошади разносили сплошь и рядом Помню — тьму случаев. Видно у нас и лошади-то были какие-то большевицкие, евразийские.

У Софии Федоровны я бывал в Институте по воскресеньям. Обычно вместе с моим другом детства Ганей Штейнгелем, который женился в 1916 году на старшей дочери Наташе (оба погибли в революцию). В Институте я впервые встретил Олечку — красивую и очаровательную.

Софья Федоровна была рожденная Каменская — прямая правнучка графа Федора Петровича Толстого, президента Академии Художеств, известного медальера и скульптора, по рисункам которого были сделаны двери московского Храма Христа Спасителя, взорванного псевдонимами в 1918 году "за ненадобностью при социализме" и устроившими на месте храма — бассейн для плавания. И плавают... до поры до времени...

Известно, что Федор Петрович Толстой был большой души человек. Это он перед государем отстоял Тараса Шевченко, вызволив его из десятилетней ссылки, из Ново-Петровского форта на Каспийском море. И Шевченко, подружившись с семьей Толстых, долго жил у них в Петербурге, также как и знаменитый английский трагический актер негр Айра Олдридж. Олдридж не знал русского, Шевченко английского, но у Толстых они стали близкими друзьями. Я часто полушутя говорил Олечке, что по душе она, видимо, пошла в своего прапрадеда. В Олечке была та же — уж не знаю, как назвать — не то аристократическая демократичность, не то демократическая аристократичность. В общении с людьми она не чувствовала и не

видела их разницы: богатых и бедных, аристократов и пролетариев, белых и черных, черных и желтых. Поэтому в нашей зарубежной жизни множество самых разнородных людей любили ее. Олечке был прирожден христианский гений любви к людям. И везде всегда у нас было много подлинных друзей: богатых и образованных, бедных и неграмотных, малограмотных и ученых, русских, немцев, израильтян, французов, американцев, негров, пакистанцев. Например, в Нью Йорке Олечка страшно дружила с семьей нашего китайца-прачечника и семья эта ее "обожала". Там был мальчик-китайчонок Ти, которого Олечка очень любила и всячески баловала. И большая (очень большая) дружба была у нас с аристократкой Е.Л. Рейнолдс Хапгуд, у которой в имени в Массачусетс мы гостили каждое лето. Помню, как Елизавета Львовна (так ее звали русские) говорила: "Ольга Андреевна, ну как это так вы умеете общаться со всеми совершенно, как равная. Я не умею, а у вас это так естественно... вот люди поэтому-то и тянутся к вам..." Это была сушая правда. В семье нашего "суперинтенданта" (управдома по-русски, что ли), многодетного мальтийца, Олечку иначе, как "любимицей всего дома", не называли. Но все это материал второй и третьей частей моей книги. Сейчас я только кратко скажу о судьбе семьи Новохацких в революцию.

Меня и Олечку война и революция разметала. Я не знал, где она. Она не знала, где я. Революция застала Новохацких в Москве. Из Москвы С. Ф. переехала с детьми в Ленкорань. В Ленкорани друзья-татары предупредили о назначенной резне русских. И в 1918 году — в чем были — Новохацкие бежали в Красноводск по Каспийскому морю на какой-то "утлой ладье". Оттуда в 1919 году перебрались в Анапу, где Олечка работала в детдоме для беспризорных. В гражданскую войну скончалась Софья Федоровна и старшая сестра Наташа Штейнгель. В 1922 году, когда пошли разговоры, что дети земских врачей, оказывается, не "социально опасные" и их, кажется, будут принимать в высшие учебные заведения, Олечка переехала в Москву. В Москве поселилась у своей подруги-институтки Л. Средневой (кстати, праправнучки Н. М. Карамзина, автора "Бедной Лизы"). Долгое время их питаньем были два стакана моченого гороха в день. Здесь Олечку настигла страшная

болезнь, потребовавшая рискованной операции. В Красноводске, хоть они и сильно подгололаживали, Олечка пригрела и кормила какую-то длинношёрстную приبلудившуюся (тоже голодавшую) собаку. От нее и заразилась (как уверенно предположил ее доктор-хирург Холин) редкой и страшной болезнью — "эхинококк" (на Западе почти неизвестной). Слава Богу, что эхинококк, проникший в организм, вклевчился не в мозг и не в глаз (это — верная смерть), а в печень. Но так как врачи долго диагноз поставить не могли, то пузырь жидкости эхинококка разросся так, что операция оказалась очень опасной. Все-таки известный московский хирург доктор Холин, учившийся в университете вместе с Олечкиным отцом, в последнюю минуту сделал эту страшную операцию по удалению всего пузыря эхинококка из печени, вырезав больше трех четвертей и печени. Причем в те "ррреволюционные" времена московские госпитали были в ужасающем состоянии. Операцию делали при керосиновых лампах. Не хватало бинтов, не было лекарств. А после операции доктор Холин, по-отечески относившийся к Олечке, прямо сказал, что если она останется в Москве — она не выживет: "У вас есть родственники за границей, уезжайте к ним, при таком состоянии здоровья вас выпустят, вы им не нужны, вы инвалид, а за границей можете поправиться!".

Ольга Львовна Азаревич (о которой я писал — "Бог дал, Бог и взял") была уже за границей, в Германии. Она любила Олечку, как дочь. После смерти отца Олечка выросла в их доме — в имени Муратовка у своего дяди кн. Арсения Друцко-Соколинского (первого мужа Ольги Львовны). Из Германии О.Л. прислала Олечке письмо, зовя приехать к ним. В немецком консульстве в Москве к Олечке отнеслись очень по-человечески, сказав, что этого письма достаточно и они дадут ей въездную визу. После долгих "советских" хлопот Олечка получила наконец и заграничный паспорт за подписью... Ягоды. Но тут встал неразрешимый вопрос: деньги на отъезд? И Олечка пошла на риск. У нее в Москве были близкие знакомые (муж и жена), до революции муж был очень богат (известная московская купеческая семья). А где река текла, там всегда мокро. И несмотря на реквизиции, социализации, национализации у него остались средства и за границей и в Москве (картины, драгоцен-

ности и пр.). К тому же при НЭП'е ему (видному инженеру) вернули одно из его небольших предприятий, которым он теперь прекрасно зарабатывал.

Так вот, зная о сборах Олечки за границу и зная, что у нее нет денег, этот былой богач-инженер предложил ей такую "комбинацию". Он дает нужные на отъезд деньги, а Олечка за это перевезет через советскую границу их паспортные фотографии, подписанные чужой фамилией, и три картины из их коллекции. Разумеется, не в картинах была суть. Эти картины на Западе не имели никакой цены: три передвижника — Похитонов "Рыбацкий поселок", Кузнецов "Березовая роща" и Мещерский "Дарьяльское ущелье". Но этим людям хотелось дотошно выяснить всю процедуру вывоза картин из РСФСР, ибо они примеривались по-настоящему эмигрировать. Поэтому-то вся суть и была в паспортных фотокарточках: для *румынских* паспортов, которые были им уже заготовлены за границей. Из Германии Олечка должна была переслать фотокарточки в Австрию имяреку (кстати, пензяку, которого я прекрасно знал). Для Олечки риск был *чрезвычайный*: обнаружь таможенники на границе эти спрятанные, подписанные чужой подписью паспортные фотографии, дело б обернулось верной тюрьмой, концлагерем, а может быть и хуже.

Но в характерах Олечки и моей матери была общая черта русских женщин этой породы: решимость, бесстрашие и самообладание. Так, рискуя жизнью, мать разыскала нас в гражданскую войну на Дону, так, рискуя жизнью, прошла к нам из Киева (больная) 400 верст пешком и все-таки добралась до Берлина. Так и Олечка, решив увидеть меня и своих родных, пошла на большой риск. Картины у нее были на виду, их скрывать нечего, хотя вряд ли разумно было думать, что они принадлежат Олечке. Но вот фотографии? Их Олечка скрыла изобретательно. Бритвой тонко разрежала надвое твердый картон на большой фотографии Софьи Федоровны и вложила посередине зловещие паспортные фотографии будущих "румын". Потом склеила картон, слегка смочила и хорошо прогладила несколько раз утюгом...

Так Олечка и выехала за границу. Но приехать к Ольге Львовне она должна была уже не в Германию, а через Герма-



*О.А. Новохацкая в институт-
ской форме, Москва, 1916.*



*О.А. Гуль (Новохацкая), Па-
риж, 1936.*



О.А. Гуль в имени Е.Л. Хангуд в Массачузетс, США, 1965.

нию в Италию, в Тироль, где тогда пробовали обосноваться Азаревичи.

В Берлин ко мне Олечка приехала в 1926 году. Мы поженились. У нас была большая связка писем: моих к Олечке и ее ко мне. Но при наших зарубежных передрягах, когда я попал в гитлеровский концлагерь Ораниенбург, часть моего архива пропала. Пропала и связка писем.

Полвека — с 1926 года по 1976-й — мы с Олечкой не расставались, дружно прожив нашу жизнь в эмиграции — в Германии, Франции, Америке — причем материально наша жизнь часто была совсем не “мёд и сахар”. Но это все уже вторая и третья части книги.

Если б кто-нибудь, когда-нибудь написал правдивый монументальный труд — “Русские женщины в революцию” — этот настоятельно требуемый памятник неувиденному героизму русских женщин! Когда-то Н.А. Некрасов “потряс” читающую Россию своими (конечно, прекрасными!) “Русскими женщинами”. Да, это была та же — *душевная линия*. Но разве можно сравнить —

Покоен, прочен и легок
 На диво слаженный возок.
 Сам граф отец не раз не два
 Его попробовал сперва.
 Шесть лошадей в него впрягли,
 Фонарь внутри его зажгли,
 Сам граф подушки поправлял,
 Медвежью полость в ноги стлал,
 Поставил в угол образок.
 И зарыдал... княгиня дочь
 Куда-то едет в эту ночь...”

разве можно это сравнить с трагической, нишей, героической судьбой, с смертной самоотверженностью русских женщин в кровавейшую большевицкую революцию? Думаю, что так и уйдут наши русские женщины в вечность без заслуженного ими памятника, никем не замеченные, никем не воспетые...

(Продолжение следует)

Роман Гуль

1918 ГОД

Колют лед монахи на Петровке.
Колют, ничего не говорят.
Мешанин в засаленной толстовке,
Да старуха в стороне стоят.
Долго так стояли и глядели.
Под злорадные смешки зевак.
После разошлись --
Глаза мутнели
У солдат, куривших злой табак.
Шла старуха,
Ничего не видя.
Горем и обидою полна.
Все летело в пропасть,
Умирало!
А она зачем-то вот жила.
Ошалелые, по городу носились
Стаи обезумевших собак...
Вдруг очнулась старая
И стала.
Донеслись слова:
"Страна-кабак!"

1919 ГОД

Седая борода.
Весь крупен и породист.
В шинели, перехваченной ремнем.
В серебряных очках,
В папахе черной
Стоял на рынке
Старый генерал.
Весь бледный, стылый.

Горло перевязано,
Он что-то пролавал
Или менял.
Спокойный,
Гордый
И усталый:
И как Россия
Умирал!

Москва

Александр Корин

Эти стихотворения А. Корина получены нами из Самиздата. Мы печатаем их без ведома автора, в чем приносим ему наши извинения. РЕД.

ХРОНИКА РАСПАДА

П. А. СТОЛЫПИН И ЕГО СИСТЕМА

Мы печатаем главу о П. А. Столыпине из воспоминаний "Хроника распада" Ю. С. Карцова, любезно предоставленную нам его дочерью Еленой Юрьевной Концевич, за что приносим ей благодарность. В следующей книге "Н.Ж." мы наведем другую главу — о М.Н. Каткове и К.Н. Леонтьеве. РЕД.

Автор воспоминаний *Хроника распада* Юрий Сергеевич Карпов родился 11 ноября 1857 г. в имении Гатшино Юхновского уезда Смоленской губернии. Умер 26 июля 1931 г. в Нише. Ю.С. учился в Москве, в катковском Лицее, потом был переведен в старшие классы Императорского лицея в Царском Селе. Закончив учение, он поступил на службу в Министерство иностранных дел. В 1879 г. был назначен секретарем посольства в Константинополе и позднее консулом в Болгарию. Читая консульские донесения Карцова об антирусской политике князя Болгарского — Александра Баттенбергского, Император Александр III, вопреки желанию некоторых членов своей семьи, перестал поддерживать этого принца и тот отрекся от престола. Тогда беспокойного молодого дипломата удалили из ближайших европейских центров и назначили консулом в Моссул. Там с ним случилось несчастье: отстреливаясь от кабанов, он ранил себя в ногу. Лишенный медицинской помощи Ю. С. чудом выжил и остался навсегда хромым. После этого он несколько лет не числился на службе. В 1892 г. он женился на Софии Михайловне Кристафович. В браке был очень счастлив. Вскоре Ю. С. был назначен консулом в Англию — в город Ньюкастл. Здесь он написал книгу *Радикальная Англия*, в которой предсказывал неминуемую войну Германии с Англией из-за обладания мировым торговым рынком. Потом он перешел в Министерство финансов и был финансовым агентом в портах Северного и Балтийского морей. Министром финансов тогда был С.Ю. Витте, с которым у

Карцова произошли нелады. Это побудило его выйти в отставку и поселиться в своем имении Довспуда, где он жил до войны 1914 г., проводя зимы в Петербурге. Однако ему еще раз пришлось пойти на государственную службу, когда он получил назначение чиновником особых поручений при Министерстве торговли и промышленности. Вел. кн. Александр Михайлович поручил ему сделать исследование о возможности проведения канала между Балтийским и Черным морями. *Хронику распада* Ю. С. начал писать после выхода в свет книги *Семь лет на Ближнем Востоке* (1906 г.), она охватывает период 1886-1917 гг. Свои воспоминания Ю. С. закончил уже в эмиграции, в Германии, где жил у своей сестры С. Колодеевой в Бад Зюдероде в Гарце. Кроме того, вместе с К. Васенским Ю.С. издал книгу *Причины войны 1812 г.* (1911) и под псевдонимом Россиянина писал статьи в *Голосе России*. *Хроника* остается в машинописи (больше 300 страниц).

Е.Ю. Концевич

Быстро несутся события и не поспевает за ними перо. Недалек и роковой день низвержения царской власти, самый черный день, когда-либо пережитый Россией, который воспоминаниям моим поставит точку. Для уразумения того, что последует, считаю необходимым еще раз вернуться к Столыпину и на системе его компромисса между царем и общественностью остановиться подробно.

Безусловно каждому гражданину принадлежит право интересоваться делами родины и следить, на какой предмет расходуются взимаемые с него подати. Учреждение законосовещательного Собраниа, которое, по предложению царя, обсуждало бы народные нужды и рассматривало бюджет, для достижения этой цели являлось своевременно и достаточно. Колебать принцип, на котором держалась Россия, — самодержавную власть — решительно не было основания.

Интересы города и деревни, экономически противоположные, расходились и в отношении идеала политического строя. Интеллигенция, — профессора, адвокаты, доктора и т.п., в честолюбивой уверенности, что судьбами России распорядятся они лучше, стремились из рук царя вырвать или, по крайней мере, поделить с ним власть, и требовали конституции.

Нажившее деньги купечество мечтало о господстве плутократии и водворении в России буржуазной монархии короля Людовика Филиппа с её девизом: — обогащайтесь! Сельское население, в вопросах права ничего не смыслившее, ждало материальной помощи, — земли и более обильных денежных оборотных средств и, как всегда, с высоты Престола. Ограничению царской власти по этой причине оно не сочувствовало.

Склонил весы в пользу города и против деревни заведомый сторонник городского населения и враг сельского — С. Ю. Витте. Когда Первая Государственная Дума была разогнана, а вторая распущена, правительство, при желании, имело возможность самодержавную власть, которой оно себя лишило, восстановить в полном объёме. Дойти до конца, однако, оно не решилось и ограничилось полумерами. Избирательный ценз оно повысило и долю участия окраин поубавило. Законодательные права Государственной Думы остались нетронутыми, как они были. Для проявления самодержавия придумана была лазейка: 87 статья основных законов. Администрация производила на выборы давление и их подтасовывала. Выдвинулся и приобрел сомнительную славу этими подтасовками товарищ Министра внутренних дел Крыжановский.

Возобладала теория: в несчастиях России виновато не положение её внутреннее и внешнее, а личные свойства царя, великих князей и придворных кругов, неспособность их и вырождение. Стоило отнять у них власть, передать общественности и всё пойдет хорошо. Теория эта, по фамилии её автора, получила название "гучковщины". Хотя Столыпин впоследствии и разошелся с Гучковым, но на первых порах деятельности он его к себе приблизил и теории его заплатил известную дань. Задачей Государственной Думы — на этот счет согласны они были оба — было: противодействовать вредному влиянию придворных сфер и служить им противовесом.

Мария Михайловна Булгак, черносотенка убежденная и пылкая, рассказала мне следующий случай, который наглядно показывает, как смотрел Столыпин на вопрос полноты царской власти. Однажды сидела она у Столыпина в кабинете и вела с ним беседу, как вдруг зазвонил телефон. По выражению и нервному возбуждению Столыпина, она догадалась — с ним

говорит Государь император. Обменявшись несколькими фразами, Столыпин повесил трубку, видимо недовольный. — И вот, на этом, — воскликнул он, — хотите вы основать самодержавие? — Он сделал жест в направлении телефона и слова "на этом" произнес с ударением, подразумевая под ними, очевидно, Государя.

По старинной традиции царский министр не дерзал быть популярным. Обаяние власти ставя выше всего, благое и популярное предоставлял он царю, а неблагодарное и возбуждающее ненависть безропотно принимал на себя. Наступило время, когда, вместо того чтобы закрывать царя грудью, министры в союзе с общественностью против самовластия его принимали меры. Значения исторического самодержавия, создавшего и объединившего Россию, как надежного оплота в борьбе с революцией, Столыпин и Гучков не признавали. По их мнению, оно себя пережило и превратилось в балласт, который надлежало выбросить. Столыпин старался укрепить власть, но власть эта была власть правительства вообще, т.е. бюрократии. Царю противопоставлял он Государственную Думу, отодвигал его и ставил в тень.

Близким своим Столыпин высказывал: когда меня не станет, в течение нескольких лет правительство будет поддерживать порядок по инерции, жить моим жиром, а потом опять верх возьмет революция и наступит смута. Итак, по собственному его сознанию, система сводилась к личности его и энергии, а сама по себе, ничего не значила. Составляли её элементы разнородные и случайные: антагонизм царя и общественности, двуличие бюрократии, избирательные маневры Крыжановского и антидинастические каверзы Гучкова.

Между двумя полновластиями — царем и Государственной Думой Столыпин занимал положение центральной. Государственной Думе импонировал он авторитетом верховной власти, а царя держал под опасением конфликта с Думой. Одновременно производились на него нападения слева и справа, со стороны революционеров и правых черносотенцев. Вынужденный вести борьбу на два фронта, Столыпин защищался с обычным ему мужеством и, в свою очередь, наносил противникам чувствительные удары. Всем памятен

возглас его, обращенный к социалистам Государственной Думы, — не запугаете!

Правые обвиняли Столыпина: — после роспуска Второй Думы он не воспользовался возможностью восстановить полноту царской власти. В "Петербургских Ведомостях" вел против него кампанию журналист Колышко, подписывавшийся Рославлев, за спиною которого, смешно сказать, стоял не кто иной, как автор манифеста 17-го октября С. Ю. Витте, и таким образом поносил родное детище. В талантливых статьях обличал Колышко-Рославлев глубокую фальшь октябризма.

— Царь даровал конституцию, — возражал нападающим Столыпин, — взять её обратно, по произволу, не имеет он права. Восставая против конституции, правые воображают — они служат царю и помогают ему успокоить страну и водворить в ней порядок. На самом деле, они создают ему затруднения. Попытка нарушения конституции, хотя бы во имя царя и для защиты его интересов, есть противление Высочайшей воле и революция справа.

В глубине души Николай II тешил себя надеждою: от революционного бреда очнется Россия и произойдет монархическая реакция, причем совершится она сама собою, помимо прямого его участия. Оппозиция правых тем и опасна была Столыпину, что отвечала она тайным желаниям царя и его приближенных. Правые укоряли Столыпина, он отдавливает царю ногу, и называли его узурпатором. Столыпин отплачивал им той же монетой и заподозривал их лойяльность. Правая партия, если бы она объединилась и распространилась на всю империю, приобрела бы огромное политическое значение. Весьма понятно, в заботе о собственной власти подобного объединения не могла допустить бюрократия.

Начальник охраны генерал Герасимов с откровенным цинизмом заявил председателю Союза Русского Народа А.И. Дубровину:

— Мы перессорили крайних левых. Теперь ваша очередь. Мы перессорим вас так, что вы вцепитесь друг другу в волосы.

Divide et impera. Подкупом и наградами прельщал главарей правой партии и переманивал Столыпин на свою сторону и, разъединяя партию, способствовал образованию новых органи-

заций. Такая политика сеяния розни дискредитировала сторонников монархии в глазах общественного мнения и гибельно отозвалась на самой идее монархии. В погоне за милостями начальства, на радость и потеху противников царской власти, правые ссорились между собою и закидывали друг друга грязью. Люди более самолюбивые и с положением отошли от монархизма и примкнули к партии националистов, которой особенно благоволил Столыпин. Монархистами остались лишь те, которые не брезгали водиться с Департаментом полиции и получать деньги из десятиллионного секретного фонда, или те немногие, которые не хотели поступиться полностью царской властью и которым вследствие этого некуда было деться.

Воспитанный благочестивыми родителями в строгих правилах преданности царю и любви к отечеству, ради царя и родины Столыпин пожертвовал жизнью. И тем не менее идее царизма причинил он непоправимый вред. Несчастьем его было то, что, преклонив слух словесам лукавствия, которые расточал Гучков, Крыжановский и Гурлянд¹ победу и спасение России видел он не в сохранении исторической самодержавной власти, а в конституционно-бюрократической фикции 17-го октября, неудачном творении Витте.

В действиях правительства единства не было. В то время как Министерство внутренних дел в сознании безвыходности положения не знало, какими мерами воспрепятствовать революционному движению, — Министерство финансов, о безопасности государства совершенно не заботясь, продолжало капиталистическую политику привлечения иностранного капитала, стеснения внутреннего рынка и сокращения меновых знаков. Обрабатывающую промышленность, фабрики и заводы, вместо того чтобы распределять их равномерно по лицу империи, сосредоточивало оно в отдельных центрах, сгущало рабочий пролетариат и, таким образом, облегчало его распропагандирование.

До сего времени борьба с революцией происходила исключительно на почве административной и полицейской.

¹ Гурлянд, член Совета министерства внутренних дел. Искусный составитель и редактор министерских проектов.

Столыпин был первый, который перенёс её в область экономическую. Он выступил с двумя проектами: реформой хуторов и национализацией кредита. Реформа хуторов имела целью создать класс мелких землевладельцев, крестьянина общинника превратить в хуторянина собственника и таким путем внушить ему чувство уважения к собственности. Война, а затем революция помешали довести реформу до конца. Национализация кредита должна была прекратить выдачу ссуд Государственным банком под иностранные предприятия в России и производить их лишь под предприятия русские. Столыпин погиб насильственной смертью прежде, нежели успел приступить к осуществлению этой мысли.

Носившие характер народной самобытности, оба проекта Столыпина, хутора и национализация кредита, попадали вразрез капиталистической политике Министерства финансов и, весьма понятно, пришлись ему не по вкусу. Министр финансов В.Н. Коковцев, соперник Столыпина, готовившийся занять его место, возражать ему не решался, ибо боялся лишиться портфеля, но под рукою противодействовал ему и вредил.

В 1920 году в Берлине на немецком языке вышла в свет книга: "General Komaroff-Kurlloff. Das Ende des russischen Kaisertums". Под этим заглавием ближайший сотрудник Столыпина, товарищ министра внутренних дел и начальник жандармского Управления, а во время войны генерал-губернатор в Риге, генерал П. Г. Курлов обнаружил свои воспоминания. Написана книга была ясным и живым языком и читалась легко. Нового, впрочем, заключала она мало. Самое интересное в ней — это подробности киевской трагедии, убийства Столыпина, совершенного агентом охранного отделения Богровым.

Редко кого преследовала молва с таким ожесточением, как генерала Курлова. Не только враги его, но сослуживцы и близкие не произносили его имени иначе, как сопроводив его ругательством. Хотя я спрашивал, что он сделал и на чем основано подобное, к сожалению, поголовное предубеждение? — никаких фактов не удалось мне добиться. Два раза царское правительство выдавало его общественному мнению, назначало над ним суд, и оба раза вышел он оправданным. Временное правительство, в свою очередь, подвергло расследованию его

действия, но, не найдя в них ничего предосудительного, выпустило его из тюрьмы. Встретясь с генералом Курловым в Берлине, я попросил у него разрешения зайти к нему поговорить о его книге. Генерал любезно согласился и в результате произошла у нас беседа.

Небольшого роста, довольно плотный, с торчащими усами и без бороды, произвел он на меня впечатление чиновника усердного и преданного и, вместе с тем, человека себе на уме. Телохранилитель самодержца, грозный Курлов, после перенесенного им удара паралича, от которого едва оправился, казался немощным и жалким старцем. Сидение в павильоне Таврического дворца, а потом в Петропавловской крепости расстроило мое здоровье, — объяснил он мне, показывая на больные, еле двигавшиеся ноги. В довершение бед, материальное положение его было из рук вон плохое. В Берлине с семейством он оказался без всяких средств. Отсутствие средств, по-видимому, и заставило его взяться за перо и писать воспоминания. Несчастья, тем не менее, не сломили крепкого его духа.

— Как полагаете вы, Павел Григорьевич, — вопрошал я Курлова, — следовало ли давать конституцию? Не целесообразнее было бы какую-нибудь законсовещательную Палату, бросив интеллигенции в виде кости, взяться за социальные реформы?

Конституции давать, разумеется, не следовало, согласился Курлов, — крестьянам земля,² евреям равноправие, мужичка приманить, а интеллигенцию под ноготок, и не было бы революции, — воскликнул он, высказывая мысль, которая затаилась у него давно и которая была ему по душе.

— Вы совершенно правы, Павел Григорьевич. Жаль только,

2) С целью поднятия значения царской власти настаивал Дворцовый Комендант Трепов путем царского указа издать закон о принудительном отчуждении земли в пользу крестьян. Мысль эту отверг Витте, находя, что подобная реформа должна быть проведена через законодательные учреждения. Да, но тогда и честь реформы досталась бы не царю, а Государственной Думе и Совету министров. (Граф С. Ю. Витте. Воспоминания II. стр. 173-174). Реформу устройства хуторов присвоил себе Столыпин. Хутора — это Столыпин. В конце концов слуги царя расхватали всё, что могли, и ничего не оставили царю, чем бы приобрести ему любовь народа и укрепить свою власть.

не додумались вы до этого раньше. Столыпина вы расхваливаете. После роспуска Второй Думы, почему, я вас спрашиваю, не воспользовался он возможностью восстановить самодержавие?

— Конституцию изобрел не Столыпин, а Витте. Пойти назад ему нельзя было. Глава правительства, он обязан был исполнять приказание свыше.

— Кто же, как не Столыпин, — настаивал я, — правой партии помешал быть единой и сильной, вождей её соблазнил и обесславил, монархистов перессорил и обратил в посмешище левых?

— В России уже так заведено: всякое проявление общественности, — съезд какой-нибудь, собрание дворянское или земское — неизбежно кончается тем, что оборачивается против правительства и вступает с ним в борьбу. Правительство по этой причине не могло допустить объединения правой партии.

— Вы отождествляете царя с бюрократией. Не угашайте духа. Потом он не возгорится. На бумаге союзников черносотенцев числилось много, а в решительную минуту революции где они были? Вот что значит в собственных рядах угашать дух.

— Und der Koenig absolut, wenn er unsre Wille thut, — процедил сквозь зубы Курлов.

— По-вашему, бюрократии надо повиноваться и в том случае, когда, вослед Гучкову, высказывает она царю пренебрежение и посягает на полноту его власти, — возразил я Курлову. Затем, перейдя к вопросу убийства Столыпина, — вы говорите: ни одна из революционных партий не приняла на свой счёт убийства Столыпина, а, следовательно, убила его неведомая сила. Не можете ли вы точнее определить — что это за сила?

— Когда Столыпин сообщил мне о проекте национализации кредита, знаете ли, — предостерег я его, — ставя под проектом подпись, подписываете вы собственный смертный приговор? — Знаю, — ответил Столыпин, — но это меня не останавливает.

— Итак, ваше убеждение, — сказал я, — Столыпина убили не революционеры, а прикрывшийся маской революции капитализм? — и на этих словах прекратилась наша беседа.

Положение Столыпина было поколеблено. Не убей его Богров, всё равно, он был бы уволен. Он не успел еще отдать Богу душу, как уже на его место был назначен Коковцов.

В Киеве гостил Коковцов у своего приятеля, Управляющего Отделением Государственного банка Афанасьева, квартира которого, таким образом, сделалась центром капитализма. Финансистам и капиталистам, — Коковцову, Афанасьеву, а с ними и киевским биржевым магнатам, — проникать в тайну убийства Столыпина, а тем более, обнаруживать связь преступления с капитализмом, не было никакого интереса. У всех живо было в памяти участие охранника Азефа в убийствах Плеве и Великого князя Сергея Александровича. Кто убил Столыпина? Агент тайной полиции Богров. Кто дал ему билет для входа в театр? Начальник киевского охранного отделения Кулябко. Этого было довольно. Столыпину, который умер кстати и никому не стоял на дороге, для очистки совести поставили памятник, Богрова поспешили повесить, ничего от него не узнав, а деятелей охраны — Курлова, Спиридовича, Веригина и Кулябко отдали под суд.

Что побудило Богрова убивать Столыпина и самому пожертвовать жизнью? Хотел ли он реабилитировать себя в глазах революционеров, проведавших, что служит он в тайной полиции, или руководствовался иными соображениями? Вопрос этот не получит ответа и киевская трагедия останется загадкой истории.

Царь или Пугачев? Третьего решения не было, и в экивоке 17-го октября напрасно думал найти его Столыпин. Интеллигенция слишком понадеялась на свои силы: она обойдется без царя и народ за нею последует. В действительности она существовала последними лучами царской власти и как только лучи эти погасли, пришел конец и призрачному её господству.

Лента кинематографа обернулась: мелькавшие на сцене, оторопелые и с выражением отчаяния на лице фигуры царя, царицы и придворных исчезли, и вдруг зрители остолбенели: вместо общественных деятелей — Гучковых и Милюковых, — которые должны были заступить царя, обрисовалась на экране наглая рожа Пугачева и злобно оскалила зубы.

— Ах, мы не знали русского мужика, — потом оправдывались обманувшиеся и поплатившиеся интеллигенты. В течение более полустолетия носились они с мужиком, изучению его посвятили целую литературу, поклонялись ему, ходили в народ и

обучали его разным "свободам", а он, неблагодарный, взял, да и хватил их по голове обухом. Бедные, они не знали...

Ю. С. Карцов

Н. А. БЕРДЯЕВ ОБ АНТРОПОСОФИИ

ДВА ПИСЬМА АНДРЕЮ БЕЛОМУ*

Дорогой Борис Николаевич,

Письмо Ваше очень меня взволновало, и я хотел немедленно же Вам отвечать большим письмом. Но случилось у меня горе. Меня вызвали в Киев. Умерла моя мать. Много трудного и важного пережил я за эти недели. Много открылось для меня в смерти. Теперь вернулся в деревню и могу написать Вам. Хочу написать Вам о Штейнере. Думаю, что Вы поступаете правильно. Если Штейнер стал для вас жизненной проблемой, то Вы должны ехать к нему, вступить с ним в личное общение и услышать его. Быть может, Вы восстанете против Штейнера и признаете его явление зловещим, но для этого нужно увидеть и опознать. Штейнера нельзя узнать через книги. Уже несколько лет у меня есть большой познавательный интерес к Штейнеру, он беспокоит меня. Я хорошо изучил его книги, но понял, что нельзя узнать через книги, кто он, хотя кое-что можно угадывать интуитивно. Штейнера, как писателя, я не люблю и не считаю его талантливым. Мне неприятен его популяризаторский-педагогический дух, его рассудочность, его (одно слово неразборчиво) желание сделать мистику наукообразной и превратить оккультизм в геккелевское естествознание иных планов бытия. Но

* Эти письма Н. А. Бердяева к А. Белому мы получили от Г. А. Хомякова (Андреева) из его архива, за что приносим Г. А. свою благодарность. Письма датированы 1912-м годом. РЕД.

я думаю, что Штейнер крупный человек и значительное явление. Не думаю, чтобы Штейнер мог изменить путь моей жизни, но я сейчас охотно поехал бы в Мюнхен и вступил с ним в личное общение, если бы мои материальные и семейные обстоятельства позволили это сделать. Вопрос об оккультизме я считаю одним из основных для нашей эпохи. А в личности Штейнера обостряются тысячелетия судьбы оккультизма. Лучшая из книг Штейнера — это недавно переведенная на русский язык "Путь к Посвящению". В этой книге есть удивительная ясность и последовательность мысли. Книга эта произвела на меня большее впечатление, чем "Die Geheimwissenschaft im Umriss". И вот по поводу "Пути к Посвящению" я хочу поставить несколько вопросов, которые Вы, может быть, разъясните, узнав ближе Штейнера.

Буду ждать от Вас ответа на эти вопросы.

Оккультизм Штейнера считается христианообразным, формой христианского гностицизма. Почему же в "Пути к Посвящению", который есть путь к спасению, нет Спасителя, нет Христа? Почему весь этот "Путь" идет снизу вверх, почему восхождение совершается одними усилиями человека и помощью других людей (учителей), поднимающими на более высокие ступени, без благодатной помощи свыше, без мистерии искупления, почему ни один солнечный луч не падает на путь человеческий сверху вниз. Это первый и коренной вопрос, который требует ответа прямого, ясного, недвусмысленного. Штейнеровский путь к Посвящению напоминает натуралистическую эволюцию, а не чудесное рождение к новой жизни через мистирию искупления. Христос — абсолютный человек и Он сказал о себе: "Я есмь путь". Тайна о человеке, о его судьбе и его пути неотделима от тайны о Христе. Через Христа причастен человек тайне Св. Троицы, ибо образ человека предвечно присущ Сыну Божию, рождающемуся от Отца. Истинная антропология, открывающая тайну о человеке, есть христология человека. Догмату христологическому соответствует догмат антропологический. Человеческая природа не просто тварная, в ней есть причастность к природе божественной через Бога-человека. Эта тайна христологии человека открывалась мистикам, ее не знало еще полностью святоотеческое христиан-

ство. И вот у Штейнера нет никакой христологии, а потому неверна и антропология.

Что это значит?

Другой вопрос. Почему Штейнер так окончательно отвергает дионисическую стихию жизни, почему не хочет знать ценность инстинктивного, страстного и подсознательного, почему дает такую исключительную власть началу рассудочному, почему он такой интеллектуалист?.

Это мне органически неприятно в Штейнере. Я не могу допустить окончательного угашения дионисически-страстных оргийных сил жизни и допускаю лишь их просветление, лишь овладение ими Логоса.

Наконец третий вопрос.

Допускает ли Штейнер творчество, как абсолютно оригинальное создание человеком небывалого, как откровение самой человеческой природы. Не есть ли путь посвящения лишь путь пассивного усвоения и обучения, не посвящается ли в нем человек лишь в тайны старой статической, творчески не прорастающей за многие тысячелетия мудрости.

Я не чувствую в Штейнере духа революционного, чуждого рождение в мире небывалого, он как будто консервативно обращен назад. Боюсь, что он признает лишь динамику усвоения и раскрытия того, что мудрые полностью знали уже пять тысяч лет тому назад и отрицает динамику творчества, для которого открывается то, чего не знали еще никакие мудрецы. Этот вопрос коренной для всего оккультизма, в котором есть опасный консервативный уклон. В оккультизме консервативный дух священства ("посвящение" в плане священства, а не пророчества) часто побеждает революционный дух пророчества. Для меня священство незыблемо и никакая революция не должна дерзать его трогать (я церковник), но сфера пророческая и творческая — свободна и не должна быть скована священственно-консервативным духом. Мережковский погубил себя тем, что творчество направил против священства и этим отпал от священства и источил творчество в бунте неправильном. Для меня существенно важно было бы поговорить обо всех этих вопросах со Штейнером. Может быть, перед Вами станут эти вопросы и Вы получите на них ответ.

Я много читал в прошлое лето Якова Беме, который весь у меня есть, и перечитываю его теперь. Я потрясен им, люблю его бесконечно и во многом готов признать себя его последователем. Штейнер же во многом следует за Беме, но что у Беме гениально, то в книгах Штейнера скучно. В центре мистики Я. Беме Христос, у Штейнера же нигде нельзя найти Христа. Для нас русских, мистически более зрелых, чем средние германские круги, нельзя писать так, как пишет Штейнер. Штейнер слишком оппортунистический писатель, слишком (одно слово неразборчиво) к современной науке, к Геккелю, к современному страху всего мистического и современной измене Христу. Для нашей эпохи нужен Нитцше, мистика, темперамент Нитцше и дерзновенный гений Нитцше. Я буду Вам бесконечно благодарен, если Вы напишете мне все о Вашем впечатлении от общения со Штейнером.

И для меня важно то, что важно для Вас.

Еще несколько слов о символизме. Нельзя сказать, что Данте и Гете не были символистами. В великом искусстве всегда был символизм, но ныне символизм вступил на новый фазис и обозначил великий призыв человеческого духа. Вы очень несправедливы к французским символистам, которых я очень люблю и очень высоко ставлю. Французские символисты стоят на рубеже новой мировой эпохи и значение их не меньше чем Гоголя, Достоевского, Нитцше и Ибсена. Но именно потому, что символисты по существу своему предвестники, символизм не может быть лозунгом. Я глубоко с Вами согласен, что символизм есть мост к теургии. Но лозунг теургический может быть еще преждевременный, не все для этого созрело.

Всегда я чувствовал провинциализм Москвы и московских кружков, никогда не любил кружковщины. Особенно неприятен мне стал этот провинциально-самодовольный дух после Рима. Радуюсь, что и Вы это сильно почувствовали. Сейчас я чувствую себя отплывшим от всех берегов и одиноким опять. Не знаю, где я буду с осени и с кем буду. Вероятно, буду странствовать. Работаю очень много над книгой.

До осени мой адрес будет Люботин.

Всей душой желаю, чтобы Христос помог Вам окончательно разобраться в том, что пока стало перед Вами. Когда и где

увидимся с Вами? Может быть осенью. Отчего мне не прислали "Гр. и дни" Мусагета. Привет от меня и Л. Н. Анне Алексеевне.
Искренне любящий Вас

Н. Бердяев

8 мая 1912 г. ст. Люботин, Южных дорог. Имение Трутовой.

*

Москва, Савичевский пер. № 10,
кв. Гриневич

9 декабря 1912 г.

Дорогой и милый Борис Николаевич,

Пользуюсь отъездом Алексея Сергеевича* чтобы написать Вам несколько слов. Так давно уже разобщен я с Вами и так хотел бы знать что-нибудь о Вас. Непременно напишите мне. Я часто о Вас думаю и всегда люблю Вас. Я совсем ушел от всякой общности, от всяких выявлений и выступлений, от публичных споров, от религиозно-философского общества и пр. Хочу только интимного общения в замкнутом кругу. Верю сейчас только в путь катакомбный. Часто вижу с Вячеславом Ивановичем, который очень доволен Москвой, но мы с ним все спорим и противимся друг другу. Он настроен очень православно. Со мной особенно стилизует на этот лад, держит сторону Рачинского и Булгакова. Меня обвиняет в излишнем тяготении к штейнерианцам, в имманентизме, в люциферянстве и мн. др. В общем он очень мил, но слишком неопределен.

Это лето и осень я много читал и перечитывал Штейнера, многое внутренне узнал и по-новому осознал. В кратком письме не могу Вам сказать самого важного и существенного. Я не могу быть штейнерианцем и многое имею против штейнерианского пути. Но у меня неплохое отношение к Штейнеру. Вероятно лучшее, чем у кого-либо из не штейнерианцев. Я придаю ему огромное значение и в нем вижу симптом великого космического перелома, обращения к тайнам космоса, которые были

* А. С. Петровский. друг Андрея Белого, работал в Румянцевском музее. перевел книги Р. Штейнера на русский язык. Умер в Москве.

закрыты для церкви и для науки. Я чувствую колебания физического плана бытия; поднимается сильный космический ветер, и человек может быть спасен космическими мерами, если останется в прежнем сознании. Но чтобы не быть распыленным космическим вихрем, нужен религиозный упор, которого штейнерианство само по себе не дает. К путям оккультного познания космических тайн нужно подходить с крестом, т.е. знать нужно Христа и не только в космическом отражении, в космическом сложении и разложении. Меня очень заинтересовали первоначальные гносеологические работы Штейнера и его книги о Гете, так как мои собственные гносеологические идеи удивительно родственны и близки штейнеровским. Я тоже решительный антиплатоник и (слово неразборчиво) тоже считаю познание внутренней творческой силой бытия. Хочу написать статью о гносеологических предпосылках оккультизма, очень объективную и благожелательную Штейнеру, не касаясь его теософии, и отдать в "Труды и дни". Свою новую книгу решил не печатать в "Пути", так как слишком разошелся с духом путейским. Как и чем Вы живете, что пишете? Когда вернетесь в Россию? Как Ваш конфликт с "Мусагетом"?

Меня все тянет уйти от культурных условностей к иной жизни. Слишком многое в нашей старой жизни для меня совсем стало невозможно. Меня недавно посетил и около недели провел у нас один иностранец, человек совершенно необыкновенный, глубокий мистик, бежежанец, одаренный изумительной прозорливостью и ясновидением. Он оставил след в моем сердце. Спешу закончить письмо и передаю (два слова пропущено). Сердечно приветствую Анну Алексеevну. Привет Вам и от Л. Н. Не забывайте меня. Обнимаю Вас с любовью.

Ваш Николай Бердяев

ПИСЬМА

И. БУНИНА К Б. ЗАЙЦЕВУ

ПУБЛИКАЦИЯ А. ЗВЕЕРСА

Вечер, 9. XI. 43

Дорогой мой, десять лет тому назад вечером я чувствовал себя немножко лучше. Нынче у нас был тоже парадный обед в честь Нобеля: макароны (т.е., вернее липкие клёчки из сырой, затхлой муки) и бутылка вина, что воротит морду на сторону совершенно дьявольски. Собрал и разодрал все окурки, сделал папиросу, тайком цапнул мару, тайно запрятанного в подполье, закурил и вот сижу и пишу...

Вчера послал тебе большой пакет — "Nathalie" по-французски. Нынче утром — письмо, где есть между прочим просьба к тебе *не читать ее по-французски*: завтра пошлю по-русски.

Дорогой мой, милый "старушек", горячо вспоминаю, с каким благородством, с какой сердечностью, с полным недуманьем о себе ты, единственный из всей братии по перу, отнесся к этому нобелевскому дню! Никогда тебе этого не забуду!

Твой Ив.

P.S. Рад, что понравилась Вам Олечка. Все пишу ей стихи:

Милая Олечка, как поживаешь?
В школе бываешь иль просто гуляешь,
Дома же в куклы и с котькой играешь,
А вечерами под ручку с мама
Ходишь то в гости, а то в синема?

11. XI. 43

Вот тебе, дорогой мой, русский текст. Повторяю, что совсем почти не надеюсь, что из дела выйдет что-нибудь путное, но отчего ж не послать! Пошлю и еще кое-что тоже на всякий случай, а главное, чтобы поделиться с тобой этими писаниями, а то все они в столе да в столе. Я тебе писал когда-то, что у меня набралась целая новая книга (*вся о любви, простите пожалуйста!*)... (Опять алерт, это мрачное, умоляющее завывание! — третий день подряд и все в полдень, в ярком и холодном солнечном свете, — но Бог с ним, хотя все-таки страшновато — где-то уже слышен очень громкий ропот и гул — сижу в халате и подштанниках, надо одеться...)

Оделся и в ожидании отбоя дописываю. Книга эта называется по первому рассказу "Темные аллеи"* — во всех следующих дело идет, так сказать, тоже о темных и чаще всего весьма жестоких "аллеях любви". Рассказы эти большей частью в лист, но есть и в одну страничку, это меня последнее время очень занимает — самая крайняя сжатость, хотя я и всегда был на этом довольно помешан. И вот еще что — нынешней осенью все хотелось писать и писал что-нибудь милое, пустяковое,** веселое из любовных делишек — что ж все думать о смерти и дьявольских делах в мире! Бокачио написал "Декам." во время чумы, а я вот "Темные аллеи".

"Ну, пока". Целую Вас обоих.

Твой Ив.

15 ноября¹

Дорогой Борис, сейчас твое письмо от 10-го. Еще раз горячо благодарю тебя за эти "нобелевские дни". Вчера послал тебе на Rosa Bonheur² еще один рассказ ("Генрих")³, он тебя там уже не

* Там вспоминаются стихи: "Кругом шиповник алый цвет, стояли темных лип аллеи..."

** Вот тебе — просто так, только для тебя, хотя, думаю, тебе не понравится — образец этого пустякового.

1) По содержанию можно заключить, что это письмо написано в 1943 г.

2) Еще одна квартира, где Зайцевы жили во время бомбардировки Парижа.

3) Рассказ "Генрих" окончен 10 ноября 1940-го г.

застанет. Если дойдет, возьми там пожалуйста. "Натали" послан и по-французски и по-русски II-го — дошло-ли? В этот день, в одиннадцатом часу вечера, т.е. ночью, изумительной, лунной, видел в первый раз (и, дай Бог, последний) совершенно сказочное по красоте красок и ужасающее зрелище — били Восса. От нас, с высоты, было видно совершенно все.

Целую. Твой Ив.

19. XI. 43

Милый друг, едва пишу — так больно руке от холода. Без конца шлю тебе свои рассказы — распалился — главным образом для того, повторяю, чтобы поделиться с тобою своими трудами и днями, а еще с мыслью: Бог знает, что будет со мною, пусть будут дубликаты у тебя. Когда-то послал чуть не всю эту книгу для перевода своему американскому издателю — ответа от него не имел, но узнал, что каким-то образом кое-что было напечатано там по-русски.¹

Послал тебе пока вот что: *Натали, Генрих, Смарагд, Таня, Зойка и Валерия, Руся, "В такую ночь"*; нынче посылаю: "Три рубля" и "В Париже". Дошло-ли что-нибудь? Извести пожалуйста в 2 словах. Переводов не шлю — некоторые рассказы не переведены. Да и зачем? Целую Вас. Твой Ив.

19. XI. 43. Первый час ночи.

Милый,

Днем не успел послать, посылаю завтра — только это ("В Париже"), "Три рубля" раздумал: что ж заваливать тебя!

Третий день буря, ливень, страшный холод. В комнате у меня "Фонарь" в пять окон, несет ветром с трех сторон. Завесил их коврами и одеялами, сижу весь день и весь вечер при электричестве, пью понемножку разведенный спирт — приятно, но и мучительно — еще пуще хочется быть, а быть — хоть шаром

1) *Темные аллеи*. Изд. "Новая земля", Нью-Йорк. 1943.

покати. Ох, надоело!

Ив.

Отчего ты никогда ни слова о том, что ты пишешь? Ничего не знаю, кроме Данте.

Так как уже 2 часа ночи, то 21 ноября 43 г.

Дорогой Борис, задремал было — алерт, выглянул в окно — буря, ливень, тьма такая везде, как, бывало, в России, в деревне, в глухую осень, в полночь — кромешная — и в ней этот рев. Получил твое письмо от 17-го, очень рад, что "Натали" тебе и Вере понравилась и очень жалею, что прочли ее по-французски. Книга моя почти вся не переведена, есть еще всего 4 переведенных рассказа, если понадобится твоему французу познакомиться еще с несколькими рассказами, пришлю их. По-русски пошлю тебе завтра днем еще одну штучку — на всякий случай, повторяю, главное — чтобы были у тебя дубликаты, если, например, разрушится или сгорит наша вилла: я тебе писал, что почти вся книга есть у моего американского издателя, но в текстах не окончательно исправленных, тогда как теперь я их, мне кажется, уже совсем, совсем исправил (в мелочах, разумеется, но ты ведь знаешь, что порой десять неверных или лишних слов портят всю музыку, как портят ее тупые переводы).

Ну храни вас и нас Бог — отбоя все нет, но делать нечего, ложусь опять в постель.

Твой Ив.

3. XII. 43

Милый друг, третьего дня получил твое письмо от 28-го — и успокоился: все, значит, дошло! Опять завернуло нечто ужасное — опять бури, ливни, адский холод, невозможно писать без перчаток, а в перчатках не могу. Вообще — если бы ты видел мои руки: помимо дьявольской боли в пальцах правой руки от ревматизма, они все в трещинах и грязны как у трубочиста — горячая вода редко, а в негорячей, т.е. ледяной, не размоешься! Сейчас (вечер) решил затопить печку, вделанную в камин, топить-то тоже надо осторожно, едва хватает дровишек на

кухню — их нам дарит один наш добрый сосед, а то бы смерть!

Ужасно рад, что Вы переселились, — храни Бог на новом месте! (Еще, значит, нашелся мудрый путешественник!)¹ Рад, что ты все-таки пишешь, "человек с чемоданом в метро",² думаю, что Глеб³ выйдет весьма не плох и очень надеюсь на "Дни",⁴ очень. Рад, наконец, и тому, что "Натали" и "Руся" и кое-что в других тебе понравилось. А что до "менструаций" и Зойкиных ж., думаю, что ты неправ. Что ж тут не эстетичного? "И сказала Рахиль Лавану: прости, господин, не могу встать с седел навстречу тебе, ибо у меня обыкновенное женское..." И подумать только, какую роль играло это "обыкновенное женское" в любовной жизни каждого из нас и в таковой же у наших женщин! По моему, про насморк и про то, как "Иван Иванович шумно высморкался в клетчатый платок", писать гораздо не эстетичнее. А уж про Зойкины ж... и говорить нечего. Красота и ужас! "Литература от этих подробностей не выигрывает, говоришь ты, — дела они не укрепляют." Да дело не в "выигрывании" и не в "укреплении" — я ничего не хотел этим выигрывать и укреплять (т.е. с меркантильной целью) — просто, задача моя была писать именно об этом, поистине "роковым". Можно, конечно, сказать: плохая задача, ненужная, — да так-ли это? Неужели можно доходить только до: "уста их слились в пламенном поцелуе"? Вот "межножье", может быть, и немножко не в меру... но опять скажу: эта резкость в соответствии полным, по-моему, со всей хохлацкой ожесточенностью Валерии...⁵

Ну, да что ж спорить на *бумаге*, может быть, Бог даст, *поговорим* как-нибудь, — я ведь тоже, милый, "не Белинский", не горазд писать такие вещи.

Спасибо, что написал о Зинаиде.⁶ Часто думаю о ней.

1) Б. Вышеславцев уехал в Швейцарию и Зайцевы на время переехали на их квартиру (38 rue St. Lambert, Paris).

2) Зайцев в это время часто переезжал с места на место и он сам себя так называл.

3) Это — третья книга тетралогии. "Юность".

4) См.: письмо от 18. IX. 39.

5) Спорные выражения, о которых здесь идет речь, не вошли в текст "Зойки и Валерии", *Русский сборник* (Париж, 1946).

6) Зинаида Николаевна Гишпиус.

Страшное дело! 52 года вместе! И вот — одна! Наговорит она о нем⁷, конечно, Бог знает что — с тысячами выдумок и ножей в спину многих, многих, но ты прав — занятие для нее спасительное.

Целую Вас обоих, целую Наташеньку с ее милым, милым голоском и смехом.

Твой Ив.

Может быть, на днях пошлю тебе 2-3 штуки, еще "возмутительнее".

А Верочка что думает насчет моих "дерзостей" в рассказах?

14. XII. 43

Дорогой мой, прости пожалуйста, что причинил тебе напрасные хлопоты — прошел месяц с тех пор, как ты написал мне о твоём издателе, который еще не выразил никакого желания издавать меня, да дело даже не в этом: некоторые обстоятельства, довольно неожиданные, заставляют меня твердо решиться не переводить пока и не издавать "Темные аллеи". Если случайно увидишь вскоре этого издателя, сделай одолжение передать ему мою благодарность за внимание ко мне — и это мое решение.

Благодарю и тебя еще раз за твои добрые намерения насчет меня, осуществить которые, как видишь, я никак не могу. Как все-таки прикажешь? — написать лично Sorlot (хотя, повторяю, он ведь ко мне не обращался) или же ты ему будешь добр передавать мое решение?

Открытку твою от 7-го получил.

На-днях послал тебе еще рассказик — "Речной трактир" — и надеюсь, что ты его получил. И этот рассказ послал главнейшим образом просто потому, чтобы он (т.е. его копия) хранился у тебя — на всякий случай. Целую тебя и Верочку.

Твой Ив.

P. S. Если исполнишь мою просьбу сказать Sorlot, будь добр взять у него при сем случае "Nathalie".

7) Об умершем Д. С. Мережковском.

5. I. 44

И Вас с Новым годом, дорогие мои, Верочка, Борис, Наташенька, Андрей! И храни Вас Бог. Дни наступают жестокие! Нынче получил твое письмо, милая Верочка. Очень тронут им, очень благодарю за ласковые слова. Живы, здоровы будем, в Париж переждем, надеюсь, к маю.

Целую Вас всех. Обнимаю сердечно и целую руку дорогому О. Киприану, прошу его молить за нас.

Ваш Ив. Б.

Милый Борис, нынче сказали нам, что умер Юргис¹. Правда-ли? Думаю, что правда, потому что сказал человек сведущий, и огорчен весь день. Ничего не знал и не думал о нем больше четверти века, — кроме того, что ты провожал с ним в могилу Бальмонта, — и вот все-таки грустно, грустно — совсем уходит куда-то наша прежняя жизнь! Писал тебе о нем, спрашивал тебя о нем после твоего письма о смерти Бальмонта, — ты, верно, забыл это, не ответил. Ах, Боже мой, Боже мой!

Давно нет писем от тебя.

Писал тебе и Вере (после ее милого, милого письма ко мне), послал три рассказа — получено ли это все?

“Живем, хлеб жуем” — и очень скверный. Погода чудесная, но очень холодно. Алерты — чуть не три раза в сутки, почти непрерывно...

18. I. 44

Целую Вас обоих со всей любовью. Твой Ив.

1) Юргис Балтрушайтис, поэт.

29. I. 44

Милый друг, получил твое письмо от 22-го, очень благодарю за дружеские слова. Предыдущее твое письмо пропало — не получал. Ты меня немножко зарезал — разве можно было давать Н.И.¹ все мои рассказы, — например, “Анти-

1) Наталья Ивановна Кульман.

гону"! Ведь она меня возненавидит! Я *очень* огорчен.

Целую тебя и Верочку, обнимаю дорогого О. Киприана.

Твой Ив.

Алерты у нас три раза в день. Потом — хотят нас эвакуировать ... куда?

Милый Борис, милая Вера, вот вам кое-что из моих последних записей:

Дни близ Соренто, дни в апреле,
Когда так холоден и сыр,
Так сладок сердцу Божий мир...
Сады в долинах розовели,
В них голубой стоял туман,
Селенья черные молчали,
Ракиты серые торчали,
Вдыхая в полусне дурман
Земли разрытой и навоза...
Таилась хмурая угроза
В дымящемся густом руне,
Каким в горах спускались тучи
На темно-синие их кручи...
Дни, вечно памятные мне!¹

В эти дни мне еще было совсем немного лет, я выпивал за сутки по пяти бутылок Позилитто и писал по рассказу — да, по рассказу в сутки и очень, очень часто! И вот

Мистраль бушует за стеной,
Безлюдный вечер длится, длится...
Пора в постель — уснуть, забыться,
Душе и телу дать покой.
Куришь, свет лампы созерцая,
И думать, думать без конца —

1) Это стихотворение — впервые напечатано в *Русских новостях* (100, 1947), со следующими изменениями: 1-й стих: Дни близ Неаполя в апреле; предпоследний стих: На их синенющие кручи... Заглавие "Nel Mezzo Del Camin Di Nostra Vita" прибавлено в изд. *Весной в Иудее — Роза Иерихона* (1953).

Зачем вам эта жизнь пустая,
 Людские бедные сердца!
 Что пользы подводить итоги
 Ничтожных чувств, ничтожных дел,
 Поняв, что близок твой предел,
 Что ты на роковом пороге!²

Целую Вас с большой грустью и любовью.
 Ваш Ив.

2) Насколько я могу установить, это — неопубликованное стихотворение.

17. 2. 1944

Милый друг, вот тебе еще стишки, — сложились тоже ночью, в постели, — представилось что-то вроде аббатства Thoronet!¹

Смотрит луна на поляны лесные
 И на руины собора сквозные.
 В мертвом аббатстве два желтых скелета
 Бродят в неподвижности лунного света.

Вежливо он наклоняется к даме
 (Рыцарь безносый к донне безглазой):
 "Мы ведь соседи. При том же, мы с вами
 Оба скончались от черной заразы.
 Я из девятого века. Решаюсь
 Полюбопытствовать: вы из какого?"

И отвечает она, оскаляясь:
 "Ах, как вы молоды! Я из шестого".²

1) Abbaye cistercienne du Thoronet (Var).

2) Это стихотворение — впервые напечатано в *Русских новостях* (84. 1946) со следующими изменениями:

Вежливо рыцарь склоняется к даме

(Череп безносый и череп безглазый):

"Это сближает нас — то, что мы с вами...

Заглавие "Ночная прогулка" — прибавлено в изд. *Весной в Иудее* — *Роза Нерихона* (1953) и здесь 5-й стих: Дама и рыцарь, склонившийся к даме.

А еще вот тебе новость: у нас наверху взяты две комнаты, — нынче должны в них поселиться два немецких шофера.

За всем тем целую тебя и Верочку.

Твой Ив.

Весьма подумываем о том, что нас эвакуируют. Если да, пропадем! Куда? С какими средствами? Но пока, как видишь, шучу.

6. 3. 44

Дорогие мои, вот уже с неделю падаю от усталости — по 12 часов в день без отдыха убираю дом, набиваю чемоданы самым необходимым — объявили, что всех нас, иностранцев, отсюда вон!

Пишу всюду просьбы, мольбы — хоть отсрочьте немного наше изгнание! И что из этого выйдет — неизвестно, живем в тревожном ожидании. А в Париж, говорят, попасть нелегко — нужно немецкое разрешение. А куда еще, если погонят? Полная неизвестность и ужас! Рад, дорогой Борис, что стихи тебе понравились, горькое чувство, что уже далеки и невозвратны те "виргилианские" дни! Господи, как мы были счастливы и молоды — да, даже и я, — поистине было мне не больше 30 лет! Хочешь меня видеть? Спасибо, спасибо, дорогой мой! Счастлив, что ты, дорогая Верочка, не очень пострадала.

Насчет Достоевского я еще пропишу тебе, Борис, кузькину мать — сейчас не до того.

Падая в постель после адской дневной работы, прочитываю с последней папироской несколько слов из "Тысячи и 1 ночи" — есть новый чудесный перевод — и засыпаю, смеясь: "Она изумилась красоте его уда и налила себе в шальвары..." А вы говорите — я похабно пишу! Целую. Ваш Ив. Б.

P.S. Да, вот еще несколько чудесных слов из "Тысячи и 1 ночи": "Даже Авраам сказал Сарре: женщина создана твердой и кривой как ребро".

30. 3. 44

Дорогой Борисоглеб, получил твое письмо от 27-го (всегда

радость!). Сидишь без пальто? Я тоже вчера сидел так, а нынче опять в пальто — не запомню такой зимы, почти все время солнце, что, конечно, не удивительно, но холода такие, что еще до сих пор не проснулись лягушки, обычно начинающие кричать в конце февраля. Вчера же, после завтрака, — это звучит теперь довольно смешно — завтрак, обед, — был в Cannes: просто страшно, в какую крепость превратился теперь этот невинный городок — нигде ни проходу, ни проезду прямого — везде надо делать петли — и ни из одной улицы не выйдешь на набережную — концы всех улиц загорожены гигантскими бетонными стоянами, оплетенными ржавыми колючими проволоками — и т.д. В Грассе и вокруг Грасса скоро, верно, будет то же самое — работы идут без отдыха и срока. А утром вчера прочел в газете: "весь Грасс может быть эвакуирован..." Так что продолжаем сидеть "на чемоданах", совершенно не зная, что будет завтра...

"Onanisme seul et à deux"? А у нас в Озерках (имение покойной бабушки по матери, доставшееся нам, где я жил лет с десяти) я, мальчиком, нашел лечебник на толстой, шершавой, бледно-синей бумаге павловских времен, где была такая глава: "О душевных болезнях, от онании происходящих" и изумительная гадость в этой главе: "Примеры рукоблудца: испарина его со сладковатым запахом, подобна испарине младенца; из рота издали пахнет мужским семенем, подобно скобленной кости..."

Про Патю¹ не верю. За что, почему? Парчевский² — это может быть ... Что же до клизмы, то ты прав, я и сам об этом не раз думал последнее время с истинным ужасом: если погонят и будешь в орде беженцев с ночевками в сараях на соломе — хоть пулю в лоб! Не шучу...

С "Глебом", милый, правда пора кончать: "Выезжай на иную путину, на иную стезю!" Тебе надо еще многое, многое другое сказать и в ином роде. А насчет "довольно" — нет, брат, не бросишь, "Коготок увяз" крепко.

Целую тебя и Верочку, очень рад, что она поправилась.

Твой Ив.

1) П.П. Муратов, знаток искусства.

2) Парчевский, сотрудник *Последних новостей*.

P.S. Так одна³ "ведет хозяйство", а другая³ "готовится к весеннему концерту"? Уж какой там концерт — у обеих, верно, теперь штаны полны! Это тебе не Парчевский!

3) Галина Кузнецова и Маргарита Степун.

12. 5. 44

Милый друг, как всегда, с радостью получил твое письмо — тем более, что пишешь редко, а мы тут за Вас страшно тревожимся что бы посылать почаще *по два слова на открытках!* Да, представляю себе, во что уж совсем обратилась Ваша жизнь... Наша *пока* приблизительно все та же. Но ждем плохого!

Что ж нецензурного может быть в "Глебе", "кол им в хрен"?

Вышеславцы, думаю, не приедут¹. Но, если Вам дома безопаснее, переезжайте поскорее и сохрани Вас Бог.

Сейчас ночь, поздно, и я так устал, что голова валится на стол — сидел за ним не вставая два дня вот за этой кляповинкой, что прилагаю. За последнее время написал стойку этих кляповинок, — все небольшие, — все думал посылать их тебе, — на всякий случай в надежде на сохранность дубликатов да все не решался, боясь, что прервется сообщение с Парижем. Теперь еще больше шансов на это — и все-таки посылаю — на авось. (Скорей всего пропадет!) Почему это, а не другое, не совсем понимаю — верно, потому, что только нынче конченное². Не ко времени все мои писания, да не все ли равно! А тут Москва, — может быть, что-нибудь тебе с грустью вспомнится...

Чем насмешил тебя, не помню. Но рад — "улыбнемся, Настенька!" — как говорил Юшкевич.

Целую Вас, дорогие, горячо, горячо.

Ваш Ив.

1) См.: письмо от 3.XII. 43.

2) Рассказ "Чистый понедельник" датирован 12 мая 1944.

16. 5. 44

Сейчас послал тебе, дорогой мой, заказной пакет с 4-мя рассказиками. Раньше, наднях, тоже заказной, с одним. Извести, если дойдет, двумя словами.

Живем "плуо-охо" (это по китайски) — все тревожнее. К тому же наша белая дача стоит так ловко, что из Cannes видна. А рядом — лес, а в лесу есть на деревьях вывески, черные, с белым черепом над крестом из двух костей — мины. Господи, помилуй! И у вас плу-о-хо, плу-о-хо — и везде так же, и "демократам" тоже не мёд.

Еще раз целую.

Твой Ив.

25.5.44. Первый час дня.

Дорогой Кардинал, пишу тебе, только что получивши твое письмо, тоже в беспокойный час — после боя сирены вот уже с полчаса непрерывный тяжкий грохот рвущихся бомб по всему побережью в сторону Ниццы; сижу, однако, идиотски-беспечно, хотя ведь могут пролететь и над нами и на всякий случай пустить вниз две-три штуки, от которых в одну минуту от Грасса них. не останется. Ну, да все Бог. С нашей высоты виден глубоко и далеко внизу (но ясно) собор, над порталом его белая Божия Мать, а в соборе, когда в него входишь, тотчас видишь белую, прелестную маленькую Терезу: всегда молюсь на Них и горячо хочу верить в Их помощь и защиту.

Дорогой Кардинал, "похвала нужна артисту, как канифоль смычку" — кажется, уже говорил тебе это и опять повторяю сейчас, когда ты меня опять утешил — на этот раз особенно — тем, что ты сказал: "Они в тебе никогда не понимали поэта, восхищающегося творением Божиим". И еще ты сказал: "человеколюбивые рассказы" — так хорошо сказал, ибо, пиша и про девчонку в "Мадриде" и про "Катьку, молчать!", я то и дело умиленно смеялся, чувствовал нечто вроде приступа нежных, радостных слез. "Спи". — "сичас, сичас... Я что-й-то раздумалась..."¹ Спасибо, спасибо, милый. А какой ты умный! Конечно,

1) В рассказе девчонка сначала говорит, что ее зовут Нина, потом правду говорит, что ее имя Поля.

началось с того, что вдруг почему-то вспомнил Женю² (опять сирена и опять все побережье и весь Грасс и вся наша дача дрожат от грохота, зеленые огни сверкают между Нищей и Антибами!) — вспомнил Женю, а потом и полезло в голову что попало, никогда не бывалое. Только что ты все меня глазишь! "На старости лет, на старости лет..."

Тэффи тоже написала мне ласковое письмецо и, отвечая ей, я послал ей тоже рассказик — только что в тот день написанный и перепечатанный Верой — "Ворон": просила меня дать ей еще что-нибудь, и вот я послал и попросил ее, когда она прочтет этого "Ворона"³, передать его тебе на хранение, в "Бунинский архив" твой, и попросить тебя дать ей все 5 рассказов, посланных тебе за этот месяц. Будь добр, дай, а потом, когда возвратит, уж никому больше не давай.

(Опять ужасающий грохот; и пожар в Cannes — на вокзале или в порту. Пишу, все время бегая к окнам, так что теперь уже два часа — целых два часа идет работа.)

Зурова тоже хотели забрать в Германию, но освободили по причине легких и раны возле заднего прохода. Аля⁴ ждет вызова каждый день.

Поцелуй Наташеньку. Думаю, что Андрея отхлопочут. Поклон ему.

Целую Вас и крешу, дорогие мои.

Твой Ив.

P.S. Дело с Зинаидой, верно, серьезное. Если помрет, все же тяжело будет на душе.

(Той беспечности, с которой начал писать, уже давно нет, — от беготни к окнам и от грома началось большое беспокойство. Сейчас летели над Грассом, блестя серебром в солнечном небе. Гром перешел в сторону С. Рафаэля.)

Вошла Вера, просит целовать Вас от нее.

2) Это, по всей вероятности, брат Бунина, Евгений Алексеевич, который "искал себе жену не среди помещичьих дочек, а девушку серьезную, работающую, так как уже понимал, что хозяйство отца идет под гору". (В.Н. Муромцева-Бунина. *Жизнь Бунина, 1870-1906* [Париж, 1958], стр. 25).

3) См.: *Н.Ж.* (117), стр. 151.

4) Александр Бахрах.

Еще два слова, дорогой: почему, почему ты не пишешь маленьких рассказов?

24. 6. 44

Милый друг, получил твое письмо от 19-го — особенно рад был ему — уж слишком долго ничего от тебя не было, а мы всегда о вас беспокоимся. Пишу Михайлову¹, пишу Капитану², чтобы тебе доставили *все*, что я тебе посылал в разное время, прошу тебя беречь это все. Слава Богу, что вы остаетесь на St. Lambert, думается, что это все-таки лучше, дай Бог не сглазить. А до зимы, правда, еще далеко, зимой, надеюсь, теплее будет всюду. Скверно с едой? И у нас все хуже и, конечно, будет еще и еще хуже. Поцелуй горячо Веру, очень огорчаюсь, что она слабеет. Это дело ужасное — по себе знаю: временами — и подолгу — я бываю так слаб, что с утра до вечера лежу, подбадриваю себя только Kola Astier; а вообще, я с утра часов до четырех каждый день совсем никуда не гожусь, — если что и делаю, то только по вечерам, часов до 12, до часу ночи. Завидую своему тезке — Иву! Гандон³, а молодец!

Да, жестокое лето предстоит миру.

Целую вас обоих, Вера тоже.

Пожалуйста почаще пиши — повторяю: хоть по 2 слова, на открытках.

Твой Ив.

1) Проф. П.А. Михайлов, юрист, близкий друг Буниных.

2) Бунин часто в своей переписке этим именем называет писателя Н. Рошина.

3) Ives Gandon, французский писатель, который жил на rue St. Lambert, président de la Société des Gens de Lettres.

11. 7. 44

Милые, как поживаете?

Опять беспокоимся — радио и газеты говорят о том, что опять били "парижский район", но что это значит? Говорят

всегда очень обще. Надеемся, что Бог вас милует. И у нас алерты, но пока, дай Бог не сглазить, Грасс еще не трогают. А живем все так же скучно, тюремно — ни поехать, ни пойти нельзя никуда. Пишу на постели — валяюсь уже пятый день, ужасная потеря крови, тем более ужасная, что возместить эту потерю нечем. А теряю кровь на этот раз из-за этого скота и зверя — чуть не умер от бешенства на него дней пять тому назад — сидел возле радио, как вдруг он подходит и повертывает у меня перед носом кнопку с криком: "Нельзя пускать так сильно!" — "Позвольте — ведь все-таки эта машина *моя!*" — "*Теперь все общее!* На драку хотите лезть? Пожалуйста!" — И опять если бы не Вера, дело на волосок от смертоубийства. "Мерзавец, чекист, палач, с длинной каторжной шеей!" — "Ян, как ты можешь говорить такие вещи в глаза!" — "А он может говорить мне в глаза, что будет бить меня?!" — Милые, есть всякие пытки, но такая, как мне дана, сам Вельзевул не выдумает! *И 14 лет!*

Целую.

14. 7. 44

Милый друг, понемногу прихожу в себя, дай Бог не сглазить, после недели очень жестокой: кроме потери крови, еще адски болел зуб, так болел, что решился на отчаянность, — при той слабости, в которую впал, пошел, поддерживаемый Верой, в город, где мне этот зуб вырвали и я чуть не околел, спускаясь по лестнице после сего. Ах, как обидно! Дни стоят истинно райские, а тут эта дикая ерунда — инвалидность от старости, к которой никак не привыкнешь и о которой ты еще и понятия не имеешь!

Пишу тебе сейчас, как почти всегда, ночью — и немножко дернувши спирту с водой — мне, брат, терять уж нечего!

Целую тебя и Веру. Посылаю — на всякий случай — список того, что накопилось в моем "портфеле". Ты из этого "портфеля" еще далеко не все знаешь — не послал кое-что главным образом потому, что нет дубликатов кое-чего — лента для машинки на исходе, угольной бумаги осталось чуть чуть...

Храни Вас Бог.

Твой Ив.

“Quand nous sommes seuls longtemps nous peuplons le vide de fantomes” — выдумываю рассказы больше всего поэтому.

Да, вот еще что: когда соберешься, напиши, напиши: был-ли ты когда-нибудь на “Капустнике” Художественного Театра и не наврал ли я чего про этот “Капустник” в “Чистом Понедельнике”? Я на этих “Капустниках” никогда не был.

5. 8. 44

Милый друг, получили на днях твое письмо о болезни Веры, счастливы, что все прошло благополучно, целуем ее горячо. Нынче получено твое письмо от 25 июля, — очень мило ходят теперь письма! Спасибо тебе за ласковые слова. Насчет ж... написал ты на пять!

Моей Вере вчера вырвали зуб и она чуть не лишилась сознания; слаба, бледна, худа страшно — и так необыкновенно трогательна, так прекрасна иногда, что я готов для нее на все на свете. Да и сам я никуда не гожусь — не могу злобствовать больше двух-трех дней, через некоторое время на все махаю рукой!

Недавно была большая радость письмо от отца Киприана. Это всегда радость, а на этот раз еще и с прибавкой. Целых четыре страницы (на машинке, кроме того) о моей книжке о Толстом, которая попала ему в руки недавно и о которой он написал очень, очень лестно. Много написал, в связи с Толстым, и о смерти, о теле — о таком на что я не мог ответить ему письменно — по неумению писать о таких вещах и в надежде на встречу с ним осенью.

Храни Вас, дорогие мои, Божья Матерь, целуем Вас оба.

Твой Ив. Б.

21. 9. 1944

Милые, дорогие, верно, такие же открытки можно посылать и из Парижа, — напишите нам как можно скорее о себе и о прочих, — что и как и о всем пережитом Вами — очень беспокоимся о Вас и о многих других — ведь у Вас битвы были настоящие, несколько дней. Из Грасса немцы бежали, слава Богу, без боя, вечером 23-

го августа а на рассвете 24-го к нам уже вошли американцы — что было в городе и у нас в душе, описать невозможно! Да, я все последние годы это думал — Германия погибнет. И вот она погибла, окровавивши всю Европу! Крепко целуем,

Ваш Ив.

2. 10. 44

Милые наши, дней 10 тому назад послал Вам открытку через французский красный крест, сообщал, что мы были освобождены 24 августа без боя, а о Вас очень беспокоимся, — получили ли эту открытку? Просил Вас написать нам поскорее тоже через французский красный крест — *открытку и по-французски*.

Крепко целуем и ждем этой открытки.

Ваш Ив.

22. X. 44

Милый друг, пишу тебе с Александром Васильевичем Бахрахом, который завтра покидает нас после нашего четырехлетнего сожительства, летит "в пыли, на тройке борзой" в Париж. Он тебя надеется увидеть и кое-что расскажет тебе о нас. Надеюсь, что ты тоже найдешь okazию написать нам о себе и о многих прочих подробно. Пока я получил от тебя только краткую открытку от 9 октября, которой, конечно, мы были очень рады, рады прежде всего тому, что Вы никак не пострадали.

Будь здоров, дорогой мой, целую тебя и Веру очень крепко.

Твой Ив.

Мы бы очень, очень хотели в Париж, да еще не проедешь — и, верно, долго, — и квартирка наша пока занята, и боимся парижского холода.

(Продолжение следует)

КТО ЖЕ ПРЕЗИДЕНТ ШВЕЙЦАРИИ?

Во время моих поездок по Европе я уже пересекал Швейцарию три раза. Я мог заметить, что страна очень богатая и ухоженная, не говоря уже о том, что чрезвычайно живописная. В этот раз (сентябрь 1979 года) я решил познакомиться с Швейцарией подробнее. Вылетел из Лондона на самолете Британской авиакомпании (государственной) с опозданием на 45 минут по "оперативным причинам". "Оперативные причины" означают те же причины, что и для опозданий поездов и автобусов по всей Англии (и миру): потеря производственной дисциплины трудящимися, чувствующими себя хозяевами положения и наказываемыми, в конце концов, самих себя по поговорке: сама себя раба бьет, что нечисто жнет.

В аэропорту Женевы сразу обратил внимание на необыкновенную чистоту и порядок и отсутствие сутолоки и толп. Тут же в туристском бюро немедленно забронировал недорогой номер в гостинице в центре Женевы. У выхода из аэропорта сел в малолюдный автобус и через короткое время прибыл в центр Женевы к железнодорожному вокзалу. По моему длительному опыту я предполагал, что моя гостиница в 1 — 2 звездочки, т.е. низшего класса, будет не слишком чистой, сумрачной, давно не ремонтировавшейся, с множеством неработающих устройств вроде кранов, выключателей, ламп, спускных цепочек или ручек для промывания унитазов и т.д. Однако все было чисто, удобно и в полном порядке.

Во всех городах, что я посетил, были на вокзалах или вблизи туристские бюро и даже бесплатные (для связи только с гостиницами) телефоны со световой картой расположения

гостиниц и с таблицей их адресов, номеров телефонов, названий, числа звездочек и цен. Я пользовался и тем и другим способом. Оказалось, что в среднем за 8 ф. ст. в ночь можно было получить вполне приличный номер в гостинице, который обошелся бы в Лондоне, скажем, не менее чем в 12-15 ф. ст.

Я побывал в Женеве, Берне, Базеле, Цюрихе, Люцерне, Лугано, Локарно, Лозанне, Монтрё и во многих маленьких городках и местечках, благо была у меня транспортная карта с неограниченными поездками железной дорогой, автобусами и пароходами. Везде — совершенно необыкновенная чистота и порядок. Я бы сказал, ухоженность. Я даже постарался выяснить, чем это объясняется, тем более, что мусорных урн было очень мало. Очистительную машину я видел только однажды и раза два видел человека с метлой. Оказалось, что люди не сорят и не бросают мусор, где попало.

Здания, как правило, чистенькие. Запущенных зданий почти нет. Нет и брошенных, полуразрушенных зданий. Люди на улицах в большинстве случаев прилично одетые. Я не встретил ни одного нищего (я не говорю о бродягах-туристах). Не видел той бедности и трущоб, которые так привычны и в Европе и в Америке.

В вагонах железной дороги тоже чистота и порядок. Надписей, как везде в Европе, что нельзя из окна вагона бросать бутылки и мусор, нет: не бросают. Наблюдал с удивлением, как некоторые пассажиры в полупустых вагонах снимали ботинки, подстилали газету и только тогда клали ноги на сиденье. Правда, я встретил одного молодца (только одного), который с видом супермена, которому все дозволено, клал ноги в ботинках на сиденье: явно, человек не швейцарской выучки.

Озера полны рыбой. В Лозанне, Цюрихе, Женеве, Локарно я сам наблюдал в чистой воде стаи довольно крупной рыбы. Реки тоже чистые и воздух тоже. Поезда, автобусы и даже пароходы ходят точно, до минуты, по расписанию. Даже городские автобусы и троллейбусы. Очереди и толкотня чрезвычайно редки. Живут просторно и удобно. Не было и надписей, как в Лондоне, предостерегающих от воров и карманников. Улицы безопасны и днем и ночью. Характерен такой случай. В центре Женевы я зашел в магазин, торгующий сувенирами и набитый

массой довольно дорогих вещей. Никого в магазине не оказалось. Позвонил. Никто не появлялся. Только через 10 минут, не спеша, появился продавец. Тут же на прилавке и касса стояла. Как видно, грабежи и воровство не процветают так, как в других странах. Выяснилось, что и банки в Швейцарии почти не грабят. Велосипеды и мотоциклы оставляются на улице без цепочек и замков. Автомашины не закрываются и стоят даже с опущенными стеклами. Видно тоже не часто похищаются. Наблюдал я детей в скверах и на детских площадках. Спокойно делятся друг с другом не только мелкими игрушками, но и велосипедами. Вот тебе и капитализм!

По существу, из окна вагона ли или ходя, я наблюдал, практически, всю Швейцарию и видел, какой огромный и квалифицированный труд вложен жителями в каждый клочок земли. Дороги, даже проселочные, заасфальтированы. Горы и холмы покрыты террасами возделанной земли. Видел я аналогичные террасы в горах Перу с самолета. Однако то были только следы исчезнувшей цивилизации инков.

На постройках в Швейцарии — образцовый порядок. Я полагаю, вы понимаете разницу между тем, что положено и тем, что брошено? Так в Швейцарии нет ничего просто брошенного: все, как надо, положено.

Любопытно, что магазины с материалами и инструментами для самодельной работы ("Делай сам") очень редки: не так как в Англии или Америке. Видно, что профессиональные работники в Швейцарии имеются в достатке и доступны по цене всему населению. Поэтому самодельщиной занимаются не массы из-за дороговизны, а только немногие из любви к искусству. Любопытно тоже, что нет побитых, поломанных или просто запущенных машин. Это означает, что профессиональное обслуживание автомашин находится на высоком уровне и доступно большинству. Таким образом, трудящиеся Швейцарии предпочитают работать, а не разорять предприятия неоправданными запросами на зарплату и другие блага и становиться безработными. О забастовках в Швейцарии не слышно и не слышно ничего о моши профсоюзов, хотя Конгресс Тредьюнионов имеется. Кстати, швейцарцы имеют с учетом сверхурочных самый длинный рабочий день и публично высказывают (в

референдуме) нежелание его сокращать. Безработица в Швейцарии ничтожна: 0,2%.

Любопытно, что и рекламы очень мало и она не так назойлива, как везде. На дорогах же ее и вообще нет. Это, пожалуй, объяснимо. В Швейцарии, кроме "Нестле", нет таких огромных корпораций, как везде, которые могут тратить миллионы на рекламу. Кроме того, спокойная неторопливость и устойчивость швейцарской жизни и не требует большой рекламы. Фирмы и товары не так часто меняются и потребитель знает их и без большой рекламы. Кстати, и порнография не так вездесуща и назойлива и не так бросается в глаза, как везде.

Резюме и некоторые полезные сведения.

1. Швейцария имеет наивысший в мире национальный валовой продукт на душу населения, т.е. она — самая богатая страна в мире. Богаче, чем Швеция и США. В два раза богаче Англии. Во много раз богаче любой страны социализма.

2. Инфляция за последние 3 года (1976, 77, 79) меньше 2%, т.е. меньше, чем где бы то ни было в мире, включая страны социализма. Значительно меньше, чем в Швеции, для многих очень привлекательной страны. Обратите внимание, что Швейцария ввозит всю потребляемую в стране нефть и нефтепродукты, а также 40% потребляемой пищи. Швейцария ввозит и очень много другого сырья, которым страна вообще очень бедна. Это еще раз показывает, что инфляция создается внутри стран.

3. Зарплаты с 1972 по 1977 год увеличились в среднем на 5,8%, т.е. существенно больше, чем инфляция. Таким образом, жизненный уровень в Швейцарии продолжает повышаться.

4. Безработица, как я уже отметил, ничтожная — 0,2%.

5. Экспортно-импортный платежный баланс положительный, хотя торговый баланс несколько отрицательный в результате бедности природных ресурсов.

6. Забастовок и прочих серьезных столкновений между работниками и нанимателями не слышно.

7. Профсоюзы — не монополисты и не держат страну за горло, как везде на Западе.

8. Правительственных кризисов, столь характерных для

всех остальных стран Запада, не происходит. Жители даже не знают, кто именно является президентом Швейцарии, и плохо посещают выборы.

9. Вандализма нет. Преступность низкая. Террористов нет.

10. Любопытно, что журнал "US News and World Report" в номере от 22. 10. 1979 в обзоре мировой подпольной экономики опустил Швейцарию вообще. Во всей Европе и США люди под давлением чрезмерных налогов и регламентаций массами уходят от этих налогов и регламентаций, занимаясь не регистрируемой (подпольной) работой за наличные. Число таких людей в США достигает 20 миллионов, а ущерб казне оценивается от 200 до 500 миллиардов долларов. В Швейцарии этого нет.

11. Швейцария не является членом Организации Объединенных Наций. Действительно, велика ли польза финансировать всяких африканских князьков и диктаторов, да множество террористов мира? ООН давно превратилась в организацию, распространяющую рабство социализма и разрушающую достижения человечества. Швейцария участвует лишь в некоторых конкретных мероприятиях, которые она считает полезными, через ЮНЕСКО.

12. Швейцария также не является членом Европейского Экономического Сообщества. Действительно, Швейцария не нуждается в протекционизме: ее экономика имеет наивысшую в мире эффективность и производительность, а самостоятельность в этом случае важна. Вообще Швейцария вполне разумно преследовала в своей политике не "высокие идеи", а благо швейцарского населения.

В чем причина швейцарской аномалии?

Население Швейцарии многонациональное настолько, что имеется 4 официальных государственных языка: немецкий, французский, итальянский и романский. Распространенность того или иного языка в данной местности определяется соседствующей страной. Связь населения Швейцарии с населением соседних стран совершенно очевидная даже по традициям и обычаям. На пути из Локарно в Лозанну через город Бриг я пересек кусок Италии, врезавшийся в территорию Швейцарии. Совершенно ясно, что население по обе стороны границы было одинаковое

(итальянцы) и свободно общавшееся через границу. Однако какая бросающаяся в глаза разница. Автомашины обшарпаны, побиты и поломаны. Здания запущены. Мусора, хоть отбавляй. На постройках развал. Даже почтовые ящики и те — ржавые. Резко увеличенное число солдат и людей в форме. Много участков дорог в ремонте: низкое качество покрытий (чаще ремонт) и большая длительность ремонта из-за низкой трудовой дисциплины.

Я бывал в Италии и до этого. Однако эти особенности не бросались в глаза: они довольно общи для всей остальной Европы. В этот раз сказались более резкий переход во времени и, конечно, мое желание сравнить. Таким образом, легко заключить, что причина особенности Швейцарии не в том, что швейцарцы — люди особой породы.

Тогда, может быть, дело в том, что страна маленькая и ею легче управлять? Однако Бельгия, Швеция, Дания, Финляндия, Греция, Исландия, Ирландия, Люксембург, Норвегия или примерно такие же по населению, или даже меньше. Просторнее жить? Тоже нет. Средняя плотность населения в 6 раз больше, чем в США, в 1,5 раза больше, чем во Франции, чуть меньше в Италии и в 7 раз больше, чем в Швеции. Швейцария не воевала? Так и Швеция и Португалия тоже. Если США, Канада и Австралия участвовали в войне, то не на своей территории и почти не пострадали. Кстати, Швейцария тратит на оборону 20% своего бюджета (США — 24%) и 2% валового национального продукта (США — 5,6%). Швейцария имеет самую совершенную систему гражданской обороны.

Иностранные дешевые рабочие руки? А откуда же берется наивысшая производительность труда! Ведь иностранные рабочие, как правило, не квалифицированные и высокой дисциплиной не страдают. Кроме того, иностранных рабочих полно и во Франции, и в ФРГ, и в Бельгии, и в Голландии, и в Англии и т.д. Знаменитые швейцарские банки? Приток иностранного золота? Нет. В Швейцарии чрезвычайно низкие проценты на вложения: 5% максимум. В Англии и в США — 14,5% (1979 год). Следует, конечно, отметить, что кредит, таким образом, очень дешев, что весьма способствует предпринимательству, в особенности мелкому и среднему. Вопреки теориям экономистов, это не ведет

к инфляции, так как инфляция есть следствие недостаточной производительности труда для данного уровня роста зарплат населения и трата государства.

География страны экономически очень неблагоприятная: нет морских портов, много территории занято горами, а природных ресурсов почти нет. Живописность страны привлекает много туристов, снабжающих страну деньгами и работой? Тоже нет. Туристов в Швейцарии много меньше (и абсолютно и относительно), чем в Англии, Италии или в Испании. Швейцарский франк котируется чрезвычайно высоко, а это означает, что среднему туристу Швейцария не по карману. Может быть, правители чрезвычайно умные или даже гениальные люди? Какие уж тут гении, когда, ручаюсь, во внешнем мире никто их не знает. Да и сами швейцарцы не все их знают и, видимо, не ощущают нужды знать. Так в чем же дело? Почему Швейцария является единственным в мире образцом экономической, социальной и политической стабильности, наивысшего в мире процветания, организованности и порядка? Почему население Швейцарии ведет себя так отлично от поведения населения везде в остальных странах?

Конституция швейцарской Конфедерации

Разгадка аномалии, безусловно, заключена в Конституции Швейцарии, т.е. в ее государственном устройстве. Любопытно, что ни в Швейцарии, ни в Лондоне я не мог добыть английский текст швейцарской Конституции. Немецкая, французская, американская, советская — пожалуйста! Спасибо швейцарскому посольству в Лондоне: оно снабдило меня требуемым.

Швейцарская Конституция гарантирует все обычные права своим гражданам и равенство граждан перед законом. Это, конечно, не сюрприз. Тем не менее, скажем, в Конституции США права граждан были введены в текст в качестве одного из дополнений позднее. Конституция Швейцарии запрещает создание нелегальных (не зарегистрированных) и опасных для государства ассоциаций (статья 56) и требует от Кантонов принятия и осуществления законов, подавляющих такие ассоциации. Разумно, не правда ли? Государственная структура

Швейцарии содержит три "этажа". В "фундаменте" находится Община (муниципалитет). Община наделена полным самоуправлением. Она лишь не может издавать законы. Законы являются прерогативой Кантонов и Конфедерации. Община управляется выборными властями.

В Швейцарии 3050 Общин. Самая малая по территории — 0,28 кв. км., т.е. всего 530 на 530 метров. Самая малая по населению — всего 20 человек! Наибольшая по территории Община — 282,3 кв. км., т.е. 16,8 на 16,8 километров. Любопытно, что ни Кантон, ни Конфедерация не могут принять человека в гражданство, если он не принят в члены Общины. Среднее количество населения в Общине 2000 человек.

Второй "этаж" представляют собой автономные государства — Кантоны (всего 26) со своими выборными властями, своими законами и со своей собственной конституцией каждый. Кантоны издают законы, действующие на их территории, и координируют деятельность Общин. Наибольший по населению Кантон Цюрих — 1,1 миллиона жителей, а наименьший — всего 13.200 жителей. Представляете? Автономное государство в 13.200 жителей! Наибольший по территории Кантон Берн — около 6.000 кв. км., т.е. 77,5 на 77,5 километров. Наименьший по территории Кантон город Базель — 37 кв. км., т.е. 6,08 на 6,08 километров.

Третий "этаж", высший, Конфедерация, ведающая общими для всех Кантонов вопросами: обороны, иностранных дел (Кантоны, впрочем, могут заключать некоторые соглашения с иностранными государствами сами), национальных транспортных артерий и т.п. Конституция Конфедерации устанавливает основные законы, общие для всех Кантонов, и гарантирует суверенность Кантонов (статьи 3 и 5 Конституции).

По форме эта "трехэтажная" структура примерно такова же, как и в ФРГ, Франции, США. Принципиальная особенность заключается в том, что права и мощь Конфедерации по отношению к Кантонам и Кантонов по отношению к Общинам весьма строго ограничены и в весьма большей степени, чем в других государствах. Больше того, финансы, т.е. расходы, т.е. поступления от прямых и косвенных налогов и сборов, строго именно Конституцией распределены по "этажам" государствен-

ной власти. В 1978 году, например, Кантоны и Общины распорядились 12 миллиардами долларов (13,6% валового национального продукта), власти Конфедерации распорядились 8,85 миллиардами долларов (10% валового национального продукта). Таким образом 58% всех средств было в распоряжении Кантонов и Общин.

Статья 41 Конституции устанавливает следующее:

1. Подоходный налог начинается для одиночки при доходе 9.000 франков в год (2.500 ф.ст.), а семейного человека — при доходе 11.000 франков (3.060 ф.ст.). Налог для этого разряда не должен превышать 9,5% дохода человека. 2. Налог на прибыль корпораций не должен превышать 8% этой чистой прибыли. 3. Налог на имущество и резервы корпораций не должен превышать 0,075%. Подоходный налог в разных Кантонах разный и колеблется, для дохода в 30.000 франков (8.300 ф. ст.) и более в год, от 7,2% до 11,1%. Максимальная ставка для дохода 1.000.000 франков (278.000 ф.ст.) для разных Кантонов колеблется от 21,7% до 34,8% (в Англии максимальная ставка для дохода 25.000 ф. ст., была 83% и сейчас — 60%). Полная сумма любых (включая и косвенные) налогов и сборов во всей Конфедерации, т.е. всех доходов всех трех "этажей" государства, не превышает 23,6% валового национального продукта. Таким образом, трудящиеся Швейцарии имеют все основания трудиться с пользой для себя. Для сравнения та же доля для Швеции составляет около 70%, для Англии 62% и для США около 40%.

Конституция ФРГ, Франции, США и законодательство Англии львиную долю власти и финансов отдают высшему "этажу" государства. Статья же 31 Конституции ФРГ прямо заявляет, что федеральный закон имеет бесспорный приоритет над законами Земель (эквивалент Кантонов). Эти же Конституции ничем не ограничивают ни величину ни сумму всех налогов и сборов. Поэтому в принципе есть конституционная возможность довести в этих государствах сумму налогов до социалистических 100% простым актом федерального парламента. В Швейцарии это исключено. Любопытно, однако, что Конституция ФРГ (статья 110 от 1969 года) требует от правительства сбалансированного бюджета, т.е. чтобы расходы не превышали доходов, ничем не ограничивая сами доходы.

Таким образом и права и имущество и доходы граждан Швейцарии строго защищены от посягательств государства, обычно ненасытного. Дело в том, что любое государство, включая социалистические диктатуры, всегда испытывает недостаток и средств и власти, совершенно независимо от того, насколько они уже велики, и стремится к их увеличению. Легко заметить, что и граждане в большинстве случаев испытывают тоже и недостаток средств и недостаток власти над событиями и другими людьми и тоже стремятся к их увеличению. Очень важно, чтобы Конституция ставила этим стремлениям разумные пределы. Швейцарская Конституция дает нам положительный пример в этом отношении. В Швейцарии национализированы только 5 главных железных дорог и контролируется почтово-телеграфная и телефонная связь. Хотя Конституция Швейцарии не исключает национализации с компенсацией (статья 23), однако при жесткой ограниченности Конституцией финансов, существенная национализация исключена и, следовательно, исключена государственная экономическая монополия. Кроме того, статья 31 гарантирует свободу торговли и предпринимательства, а статья 31 бис требует такой регламентации, чтобы предотвратить образование картелей и аналогичных группировок, т.е. монополий. 10 самых больших корпораций в Швейцарии, включая самую большую — "Нестле", имеют средний оборот в год 3,6 миллиарда долларов, а 10 самых больших в США — 8 миллиардов долларов. Конституция ФРГ (статья 15) устанавливает право государства на национализацию без ограничения. Нет в ней ничего и об ограничении картелей и монополий. Конституция Франции, наоборот, *требует* национализации ресурсов или предприятий, которые становятся монопольными. Таким образом монополия становится государственной. В Англии нет Конституции вообще. Следовательно, и в ФРГ, и во Франции, и в Англии для населения есть шанс однажды проснуться в стране социализма с обобществленным простым актом парламента народным хозяйством. Так или иначе, ни одна из Конституций кроме швейцарской, не дает гарантий против резкого увеличения государственной власти или чрезмерных концентраций ее в каких-либо монополиях, например в профсоюзной.

Изменение Конституции Швейцарии возможно только с помощью всенародного голосования и согласия на это всех Кантонов. Изменения французской Конституции тоже требуют утверждения их всенародным голосованием. Конституция же ФРГ может быть изменена федеральным парламентом. Таким образом, Конституция Швейцарии является в ее совокупности уникальным документом. Ее нельзя изменить без согласия большинства населения. Она очень эффективно ограничивает экономическую, политическую и социальную мощь центральной власти, не ограничивая силы Конфедерации в вопросах войны и мира и в международных отношениях. Она обеспечивает суверенность граждан и их свободу от чрезмерных монополий (государственной, промышленной, банковской, партийной, профсоюзной и т.п.). Она обеспечивает гражданам право устраивать свою жизнь, как они этого хотят, и пользоваться в среднем не менее чем 85% своего дохода по своему усмотрению. Не удивительно, что швейцарцев мало интересуют и президент и федеральная власть: они не мешают им жить в свое удовольствие. Такие условия, естественно, чрезвычайно способствуют развитию мелкого и среднего предпринимательства и следовательно, полной занятости населения, отсутствию инфляции и максимальному процветанию.

Даже если самоуправляющаяся Община и может быть больше 2000 человек, она, однако, не превышает территории 17 на 17 километров. Управление такой Общиной достаточно просто, чтобы быть эффективным и соответствовать интересам населения. Население, в свою очередь, легко видит последствия своих действий на территории Общины. Поэтому чистота и порядок и все остальное легко объясняются. Люди ясно видят, что, если они будут везде сорить, нарушать порядок, терпеть безобразные стенные надписи, терпеть вандалов, преступников и террористов в своей среде, им же, в первую очередь, и будет хуже.

Между выборными органами самоуправления Общины и ее жителями нет никаких промежуточных ступеней. В результате, в Швейцарии торжествует разумный эгоизм населения, заставляющий его действовать на пользу Общины и знать, что это будет на пользу и им самим.

Поскольку демократия есть власть народа, то в Швейцарии она и существует, единственная во всем мире. Парламент, многопартийность, разделение властей не есть власть народа. Это есть власть *представителей народа*. В Швейцарии же это — власть именно народа, так как люди властны строить жизнь и пользоваться плодами своего труда в соответствии со своими разумно-эгоистическими желаниями. В других странах власть находится в руках далеких и малознакомых "представителей", которые, конечно, в первую очередь, представляют самих себя. Прямая, очевидная связь между действиями отдельного гражданина и его же собственным благом в масштабе страны теряется. Эта связь через "этажи" власти слишком длинна и запутанна. Поэтому в людях воспитывается не разумный, а безумный эгоизм, т.е. стремление урвать все, что можно, для себя, не заботясь об остальных. Так и получается, что коллективизм (через "этажи" власти) рождает крошечный эгоизм, а индивидуализм в маленькой Общине, как в прочной, хорошей семье, рождает разумные чувство локтя, уважение к соседям, к коллегам, к "своей" власти и рождает такую необходимую человеческому обществу общую солидарность.

Легко уяснить, что при швейцарских обстоятельствах сепаратизм, свирепствующий в большинстве стран мира, не имеет в Швейцарии никакой почвы. Если же и возникают такого сорта трения, то с согласия населения можно из одного Кантона сделать два. Так, в 1978 году Кантон Берн (наибольший по размерам в Конфедерации) выделил новый Кантон Юра. Ничего страшного ни для Конфедерации, ни для Кантонов от этого не произошло. Весьма любопытно, что в Швейцарии 47,8% населения — протестанты, а 49,6% — принадлежат к римско-католической церкви. В Ирландии это ведет к страшнейшим неприятностям, включая страшный терроризм, а в Швейцарии с ее 3050 Общинами это не приводит к нарушению стабильности. Точно так же в многонациональной Швейцарии не существует национального вопроса.

Если эти принципы государственного устройства и Конституции Швейцарии развить для условий российских, учтя и другой опыт мира (и советской власти), то мы получим превосходную Конституцию Новой России и гарантии истинной, а

не фальшивой демократии. А истинная демократия является высшей гарантией и экономического и духовного процветания страны, а также ее миролюбия в сочетании с внутренней силой и здоровьем.

А. Федосеев

”ДЕСЯТИЛЕТИЕ УТОПИСТОВ”

Так озаглавила группа немецких журналистов свой коллективный труд по анализу десятилетия управления страной, так называемой, социально-либеральной коалицией. Немецкие журналисты указывают на срыв многих широко обещанных социальных реформ, на трудное положение мелкого и даже среднего предпринимателя, на довольно значительную безработицу, инфляцию и, главное, на огромную задолженность государства. Социально-либеральная коалиция переняла государство не только без долгов, но даже с большим финансовым запасом. Журналисты думают, что социальные утописты, первым из которых был Вилли Брандт, размахнулись на огромные реформы, но не смогли их осуществить и запутались в противоречиях своей нереальной политики.

Означенное десятилетие началось под знаком новой внешней политики, под знаком договора с Москвой, признания границы Одера и Нейсе с Польшей и фактическим признанием ”ГДР”. Тогда все это произвело в Германии впечатление взорвавшейся бомбы, так как еще во время предвыборной кампании Брандт и другие видные социал-демократы заверяли народ, что они никогда не сделают этого шага. Герберт Венер даже сказал: ”Мы были бы подлецами, если б это сделали”. Через полтора года после этого заявление они стали ”подлецами”.

Мы предвидим комментарии: ”А что же им было делать? Западные союзники настаивали на признании ”реальностей”, фактически от этого признания ничто не изменилось; и христианско-демократическое правительство сделало бы, в конце концов, этот же шаг”.

Не станем с этим спорить, особенно с последним аргументом, хотя думаем, что юридическое признание или не-

признание фактов, которых пока нельзя изменить, имеет *реальное*, а не только символическое значение. Но дело не столь в этом, как в том *как* это было сделано: неожиданно, быстро. Ясно, что все было втайне подготовлено уже тогда, когда эти политики с величайшим убеждением заверяли, что этого никогда не сделают.

Поэтому быстрое заключение договоров произвело впечатление шока. Ряд членов социал-демократической партии и партии свободных демократов ушли из своих партий. Некоторые из них вступили в ряды христианских демократов, другие остались беспартийными. Среди ушедших были и депутаты бундестага. Большинство социально-либеральной коалиции, насчитывавшее вначале 6 депутатов, совсем размылось. Больше того, оппозиция получила на два депутата голосов больше.

Известно, что в мае 1972 г. тогдашний лидер оппозиции Райнер Барцель решил поставить в бундестаге вопрос конструктивного недоверия. Западногерманская конституция не допускает свержения правящего канцлера без одновременного выбора нового. Нельзя, как это бывает в других странах, сначала вотумом недоверия свергнуть правящего канцлера, а потом выбирать нового. Надо сразу же предложить нового, так что голосование против правящего канцлера является одновременно и голосованием за нового кандидата. Результат известен: два члена партии христианских демократов воздержались от подачи голоса и тем самым спасли Брандта. Один из них, Штейнер, признался потом, что был подкуплен 50 тысячами марок.

Вскоре после этого тот же Барцель добился от оппозиции, чтобы она при ратифицировании Московских договоров воздержалась от голосования. В противном случае договоры были бы провалены. И как раз это сломило силу оппозиции на долгое время. Ее сторонники и вообще все противники договоров с Москвой и Варшавой, в такой их форме, были сбиты с толку. Сомневавшиеся решили, что если даже оппозиция *не голосует против*, то значит договоры не так уж плохи, а сторонники Брандта торжествовали.

Так окончательно взяло верх чувство, что перемены и новые идеи нужны. Период восстановления Германии после войны и даже период стабилизации были закончены. Почти чудесное

хозяйственное возрождение Германии после войны, то, что она, как Феникс из пепла, восстала и стала сильным союзником вчерашних западных противников, все это связывалось, конечно, с христианскими партиями, но еще больше лично с Аденауэром и отчасти с Эрхардом. Но Аденауэра больше не было. Эрхард был прекрасным министром хозяйства, но оказался неумелым канцлером. Христианские партии не сумели выдвинуть новой личности. Кизингер, канцлер большой коалиции, был весьма бледным политиком, а сведение оппозиции в бундестаге к маленькой партии свободных демократов в период большой коалиции (1966-1969 гг.) отчасти способствовало вынесению оппозиции на улицу. Студенческие беспорядки 1968 г. показали, что стабильный корпус государства начал давать трещины.

Брандт и его партия умело использовали это смутное настроение. Особенно после присуждения ему Нобелевской премии мира Брандт предстал перед народом неким "великим миротворцем". И на предвыборных плакатах изображался с очами возведенными к небу, чуть ли не с ореолом. Он представлял миротворцем, завершившим якобы политику Аденауэра, который примирил Западную Германию с Западом, а Брандт примирил ее с Востоком. Терминология сознательно выбиралась туманная, примирил с... каким Востоком? С народами Восточной Европы? Или с их режимами? Различия сознательно не делалось. А Брандт звал к новым, еще лучшим социальным мероприятиям, к какой-то *истинной демократии* (как будто в первое десятилетие Федеральной Республики демократия была не истинная?!). Одним словом, имитируя Джона Ф. Кеннеди, он звал к "новым рубежам".

И некое "мессианское" настроение охватило значительную часть народа. Преждевременные выборы, произведенные 19 ноября 1972 г. дали Брандту солидное большинство и вывели его партию в первый и пока последний раз на первое место по числу депутатов. Но все это вздутое "мессианское" чувство лопнуло как мыльный пузырь чрезвычайно скоро. Мне помнится, что когда я через 5 дней после выборов 1972 г. в редакции "Баварского курьера" (газеты Штрауса) сказала, что Брандт как политик — конченный человек и его партия сменит его в середине легислатуры, на меня посмотрели как на сумасшедшую. Но уже

в сентябре 1973 г. редактор этой газеты сказал мне: ”Вы были правы”. Слава Брандта пала так же быстро, как началась, вернее, как была искусственно раздута. Галлопирующее разочарование народ выразил в чрезвычайно злых анекдотах. Ни об одном из послевоенных канцлеров не ходило такое количество и таких злых анекдотов, как о Брандте. О предыдущих канцлерах анекдотов вообще было мало, а если и были, то добродушные, вроде следующего об Аденауэре: Аденауэр спрашивает своего маленького внука, кем бы он хотел стать, когда вырастет? Малыш отвечает: ”Канцлером”. Аденауэр: ”Нет, тебе это не удастся, двух канцлеров нам не нужно”.

О Брандте же распространились анекдоты, которые я называю ”тоталитарными”, в несколько иных вариантах я слышала большинство таких анекдотов о Сталине и о Гитлере, т.е. о жесточайших диктаторах, но до Брандта никогда не слышала таких о каком-либо демократическом политике, даже самом неудачном. Приведу два из нескольких десятков. Вопрос: когда в Германии опять все будет хорошо? Ответ: когда вдова Шееля на похоронах Брандта спросит вдову Венера, не позвонила ли она канцлеру Штраусу и не спросила ли его, кто, собственно говоря, убил Бара*. Второй: Брандт, Шеель и Венер едут в лодке. Лодка перевернулась, они в воде. Кто будет спасен? Ответ: — Германия. Дело дошло до того, что такой левый журнал, как ”Шпигель”, напечатал целую страницу самых злых антибрандтовских анекдотов. Помнится, даже я была поражена этим феноменом. Анекдоты всегда точный показатель настроения народа.

Было ясно, что Брандта надо убрать своевременно до следующих выборов с поста канцлера, иначе социал-демократы проиграют выборы. Но в нормальном государстве было бы совершенно невозможно то, что сделал тогда Венер: *находясь в Ленинграде*, он заявил, что Брандт — канцлер без головы. В сентябре 1973 г. делегация депутатов бундестага ездила в Сов. Союз. Там Венер отделился от остальной делегации и ”исчез”, как выяснилось потом для разговора с его старым товарищем Борисом Пономаревым. После этого он дал в Ленинграде

* Эгон Бар — ”архитектор” Восточных договоров.

интервью, которое передавалось в Германию "Лайф", где и назвал Брандта канцлером без головы. Между прочим, в народе тогда же возник новый анекдот: Отчего Венер вернулся из Москвы с такой кислой миной? Ответ: После того, как его снова приняли в компартию, ему пришлось внести членские взносы за 30 лет. Как известно, Венер был исключен из компартии в 1942 г.

Тогда всем, кто следил за политикой, стало ясно, что партия уберет Брандта. Ему предложили выставить свою кандидатуру на пост президента республики весной 1974 г. Брандт отказался. Он не понял знамения времени.

Раскрытие шпиона Гийома из числа ближайших сотрудников Брандта не было настоящей причиной его ухода с поста канцлера. Это был только подходящий предлог. Нет сомнения, что и без Гийома партия под водительством Венера заставила бы Брандта оставить пост канцлера под каким-нибудь предлогом. Это было дело решенное.

Наследник Брандта Гельмут Шмидт парадоксальным образом взял на себя роль противоположную той, которую хотел играть Брандт. Не "новые рубежи", а сохранение и стабилизация достигнутого. В 1957 г., на вершине "хозяйственного чуда", Аденауэр получил абсолютное большинство на выборах, которые он вел под лозунгом: "никаких экспериментов". Это имело успех, потому что немцы хотели сохранить то, что они таким почти чудесным образом достигли. После краткой эйфории в чайнии перемен при Брандте, разочарованное и испуганное население поддержало в 1976 г., хотя и с минимальным большинством, того политика, который выступил под тем же лозунгом: никаких экспериментов. "Нам пока еще хорошо живется, несмотря на некоторые неполадки. Сохраним же то, что у нас есть", — такова была политическая линия канцлера Шмидта. Его оппонент Гельмут Коль не выставил никакой новой программы. По существу, он хотел только убедить избирателей, что он будет еще лучше, чем Шмидт, сохранять достигнутое. Но население, отойдя от шока Брандта, все же в своем большинстве предпочло оставить охранителем того, кто уже за это взялся. Шмидт был в 1976 г. только два года канцлером и ему, так сказать, по справедливости, полагалось дать еще время, чтобы он показал, как хорошо он это достигну-

тое сохраняет.

Но в наше быстротечное время невозможно просто консервировать данное состояние без всяких творческих импульсов. Напомнят зреющие изменения если не изнутри, так извне.

Кризис энергии ставит ребром вопрос об использовании атомной энергии. Шмидт стал на платформу защиты использования атомной энергии для мирных целей. Он говорит, что стоит за постройку атомных реакторов, без которых высокоиндустриализованной Германии не обойтись. Но одна ячейка его партии за другой принимает обратные решения, решения против атомной энергии, решения не продолжать постройки уже начатых реакторов. В декабре этого года будет съезд социал-демократической партии, на которой ”базис” партии даст Шмидту бой, тем более, что ее председатель Брандт не торопится стать на сторону своего канцлера в этом вопросе.

Проблемы охраны природы, может быть, и немного искусственно раздутые газетами, радио и телевидением, должны быть как-то решены. ”Зеленые” на местных коммунальных выборах имеют относительные успехи преимущественно за счет социал-демократов и свободных демократов. И в Берлине впервые смогли послать своих депутатов в ландтаг.

Официально социал-демократическая партия стоит на точке зрения недопустимости сотрудничества с коммунистами, даже спорадического сотрудничества в той или иной акции. Но секретом полишинеля является то, что юзос (молодые социалисты), не только иногда и время от времени, но во многих ячейках постоянно и тесно сотрудничают с коммунистами. В отдельных акциях это сотрудничество уже давно перешло и на левый фланг не таких молодых социал-демократов, в том числе некоторых депутатов бундестага. Социал-демократы Германии с судьбоносной неизбежностью все время снова выделяют из своей среды левый фланг, который охотнее сотрудничает с коммунистами, чем с демократами. До сих пор эта часть, в конце концов, отделялась от социал-демократической партии. В 20-е годы это была УСПД, Независимая социал-демократическая партия, к которой в молодые годы принадлежал Вилли Брандт и которая была очень близка к коммунистам. Оставшаяся после

выделения этой части социал-демократическая партия снова выпестовала в своих недрах левый фланг. Он соединился в 1945 г. с коммунистами в Единую социалистическую партию, которая и по сей день управляет Восточной Германией.

Оставшаяся после этого социал-демократическая партия Германии была сначала активно антикоммунистична. Она даже организовала так называемое Восточное бюро, направлявшее пропаганду против коммунизма в восточную зону, вплоть до воздушных баллонов с листовками. Но в прошлом многолетний руководитель этого Восточного бюро Гельмут Бервальд уже 10 лет как перешел в христианско-демократический союз, а самого Восточного бюро, конечно, давно нет и в помине. Больше того, в те времена некоторые социал-демократы по заданию своей партии пробирались в Восточную зону, чтобы вести там антикоммунистическую пропаганду. Многие были арестованы и или погибли в тюрьме или, просидев много лет, были не так давно выпущены больными инвалидами в Западную Германию. Так их партия от них отреклась и отказалась помочь им хоть чем-нибудь. Времена меняются.

Соотношение сил внутри социал-демократической партии, силу левого крыла, готового снова на создание "народного фронта" с коммунистами, трудно точно определить. Левые стараются больше действовать подспудно, не очень-то выходить наружу, чтобы не испугать общественность. Они знают, что их партия проиграет на выборах, если у большинства населения создастся впечатление, что у социал-демократов господствует левое засилье. Поэтому они и стараются спрятаться за спину Шмидта, как за ширму, и не вылезать наружу. И сейчас невозможно сказать, сколько за спиной канцлера стоит умеренных социал-демократов, не склонных к союзу с коммунистами, и сколько таких, которые в тиши точат нож. Но одно ясно: Шмидт почти полностью парализован левым крылом его партии. Если левые не могут начать проводить в жизнь свои социалистические, очень близкие к коммунистическим идеи, то и канцлер не может сделать многого из того, что было бы необходимо: левые этого не допустят. Они согласны скрепя сердце, чтобы он охранял то, что есть, пока не пройдут выборы, но они не намерены допустить того, чтобы делалось что-либо новое,

уводящее еще дальше от их марксистской программы. Так становится ясно, что общая марксистская идеология, хотя она и интерпретируется умеренными социал-демократами иначе, чем коммунистами, представляет собой питательную среду, в которой снова и снова вырастают потенциальные союзники коммунистов.

Профсоюзы, которые должны были бы быть политически нейтральны, но на деле поддерживают социал-демократов, сильно инфильтрированы коммунистами. Мы видели на примере прошлой зимы в Англии, куда это может вести. В Англии, однако, несдержанность коммунистических функционеров профсоюзов повела к победе консервативной партии. В Германии коммунисты осторожнее. Но невозможно узнать точную цифру членов компартии в профсоюзах, руководители их эту цифру не открывают.

Над компартией Западной Германии принято смеяться, на круг она получает не больше 1% голосов, но вот на последних коммунальных выборах в Рейнской области — Вестфалии в некоторых крупных городах коммунисты прошли в муниципальные советы, то есть компартия перескочила в этих городах через 5%. У них прекрасная боевая организация и неограниченное количество денег. Но, конечно, открытая деятельность им большого успеха не принесет, гораздо опаснее инфильтрация.

Вклад Западной Германии в НАТО, который прежде был образцовым, начинает отставать. Германия не выполняет полностью своих обязанностей, и Апелю, самому невоенному из всех возможных министров обороны, приходится уговаривать недовольных американцев. А в это самое время даже не столь юзос — они осторожнее, — как некоторые части союза молодых “свободных демократов” (юдос) требуют выхода Западной Германии из НАТО. Все это внутренние проблемы партий, входящих в правительственную коалицию.

В сфере внешней политики на первый взгляд восточные договоры (с СССР, Польшей и “ГДР”) как будто бы ничего существенно не изменили. Территории, о которых шла речь, и прежде находились под коммунистическим владычеством, с другой стороны, Западная Германия по-прежнему — член НАТО и западного союза. Но подспудно идет медленная “финлянди-

зация”, т.е. вмешательство Москвы во внешнюю и даже внутреннюю политику Западной Германии.

Еще в 1967 г. Абрасимов передал тогдашнему министру иностранных дел Брандту, что “разрядка напряжения” с Бонном может произойти только, если христианские демократы будут отстранены от управления страной. И хотя эти партии — самые сильные в стране, они уже 10 лет отстранены от управления. Теперешняя коалиция сразу же исполнила желания советчиков. Одним из условий “разрядки” была легализация компартии Западной Германии. И это условие было выполнено.

Когда в 1976/77 гг. стало ясно, что огромное количество советских танков в Восточной Европе не уравновешено войсками НАТО, встал вопрос о нейтронном оружии. Но против него была поднята отчаянная кампания, во главе которой встал один из лидеров социал-демократов, архитектор восточных договоров, Эгон Бар. Эта кампания точно соответствовала желаниям Москвы.

Особое значение имеет предложение Москвы Бонну играть в западном союзе нечто вроде посредника между Москвой и Вашингтоном. Советское правительство дало понять Бонну, что оно не забывает о принадлежности Западной Германии к НАТО и считается с этим как с реальностью. Но можно было бы заключить между Москвой и Бонном особый договор по вопросам разрядки. Тогда Бонн мог бы внутри западного союза служить посредником или, вернее, проводником желаний Москвы. Хотя договор этот еще не заключен, но роль эту Бонн постепенно перенимает. Достаточно только послушать, как настаивает Апель на ратификации Вашингтоном СОЛТ II.

Этой же цели служит и объявленное Брежневым в Восточном Берлине на празднестве 30-летия “ГДР” уменьшение числа советских войск в Восточной Германии. Уменьшат они войска, конечно, лишь очень незначительно и, если они их, например, отведут не дальше Польши, то разницы почти никакой не будет. Но канцлер Шмидт сразу же приветствовал это заявление без малейших ограничений. Совсем иначе реагировал кандидат в канцлеры Штраус: он тоже приветствовал заявление Брежнева, но добавил, что уменьшение советских войск в “ГДР” будет весьма незначительным и страны НАТО ни в коем случае

не должны задерживать укрепление своих вооруженных сил.

Торжественное заверение Брежнева, что Сов. Союз никогда не направит своего атомного оружия против стран, отказавшихся от его изготовления и *не имеющих его на своей территории*, тоже сделано для Германии, Дании и Голландии. Они отказались уже давно от того, чтобы производить собственное атомное оружие, но СССР важно, чтобы Западная Германия не допускала американских ракет с атомными головками на своей территории в рамках союза НАТО.

Проблема разделения Германии, как кажется, перестала существовать в умах населения Западной Германии. Не так давно, например, две молодые семьи с четырьмя маленькими детьми сшили из простынь и занавесок воздушный балон и на нем перелетели через немецко-немецкую границу. Они рисковали не только своей жизнью, но и жизнью своих детей, они рисковали сбиться с пути и приземлиться случайно на территории того же страшного государства, из которого они бежали. Только отчаяние могло побудить обыкновенных мирных людей, родителей маленьких детей, на такой поступок. Но даже такие сенсации, так же как и убийства на границе безоружных беженцев, не вызывают среди западно-германского населения никакого волнения. Все к этому привыкли как к должному. Демонстрировать можно против действительных или мнимых жестокостей в Чили, но демонстрировать против убийств на немецко-немецкой границе? У берлинской стены? Это было бы признаком варварства! Итальянский президент Пертини, впервые увидевший Берлинскую стену, был потрясен. Западные немцы уже ничем не потрясены. Они равнодушны и заняты только своим собственным материальным благополучием. Согласно опросам большинство населения Западной Германии не заинтересовано в воссоединении с Восточной. Такое воссоединение принесло бы волнение, потревожило бы сытую и спокойную жизнь.

Совсем иначе смотрит на это население Восточной Германии. По тем сведениям, которые до нас доходят, большинство этого населения хочет воссоединения, но, конечно, не в коммунистическом смысле, а в форме свободного демократического государства. Партия и правительство коммунистической

Германии настаивают пока что на полном разделении, даже на особой "социалистической" нации, на отдельном гражданстве и т.п. Но придет момент, когда оно выкинет лозунг национального воссоединения. Внешне Восточная Германия старается хранить прежние традиции. Форма армии ничем не отличается от формы Вермахта второй мировой войны (в западно-германской армии форма изменена), прусскую маршировку можно видеть только на парадах в "ГДР". Если там издается полное собрание сочинений Гёте или Шиллера, то оно носит название "национальное издание". Единственно малочисленность населения Восточной Германии по сравнению с Западной (17 милл. и 60 милл.) останавливает немецких коммунистов от пропаганды воссоединения с Восточной Германией. Этот лозунг мог бы быть выкинут только, если б удалось подготовить достаточное количество молодежи как в социалистическом, так и в национальном духе. Тогда интернациональные марксисты облеклись бы на время в тогу немецкого национализма с целью поглотить свободную часть Германии. Втайне подготовка к этому ведется.

Возвращаясь к положению Западной Германии можно сказать, что все сильнее становится чувство неизбежности каких-то перемен. Шмидт старается сохранить впечатление, что благополучное положение Западной Германии без существенных перемен или реформ может продолжаться неопределенно долгое время. Но под как будто твердой корой бродят страсти, в его же собственной партии. Они сдерживаются самодисциплиной из боязни проиграть выборы. Но как долго? Относительно атомной энергии партия должна скоро прийти к какому-то решению. Да и решение многих других проблем нельзя откладывать без конца.

Вообще положение в стране подошло к какой-то развилке. Можно предполагать, что, если теперешняя коалиция в 1980 г. снова победит на выборах, Шмидт не останется долго канцлером. Он будет сметен левым крылом своей партии или сам резко переменит курс.

Сейчас, действительно, наступил момент, когда противником Шмидта в предвыборной кампании не может быть посредственный политик, который бы обещал по-существу то же самое, что и Шмидт, т.е. консервировать то, что есть, то, что

достигнуто, но только еще немного лучше, чем Шмидт. Противником Шмидта, который имел бы хоть какой-нибудь шанс на успех, может быть только мужественный политик, не боящийся называть вещи своими именами. Среди христианских партий это только Штраус. Поэтому понятно, что чувство приближающихся перемен способствовало его выдвижению в кандидаты.

Конечно, невозможно что-либо предсказать об исходе выборов 1980 г., но думается, что после них начнется новый период послевоенной истории Западной Германии. Направление, куда пойдет страна, будет значительно, если не радикально, иным, в зависимости от того, победит ли теперешняя коалиция или христианские демократы под водительством Штрауса. Но в том и в другом случае перемены, я думаю, будут значительны. Возможен, конечно, и такой исход, что Штрауса не допустят до правительства. В том случае, если опросы будут указывать на возможность его победы, что-нибудь произойдет. Это тоже одна из возможностей.

В. Пирожкова

P.S. Уже после того, как я отослала свою статью в “Новый Журнал”, в английском журнале “Обсервер” появилось сообщение о плане Москвы нейтрализовать Германию. Журнал ссылается на хорошо осведомленные югославские круги.

Согласно этому плану Западная Германия должна выйти из НАТО, а Восточная из Варшавского пакта. Сов. Союз выведет свои войска из Восточной Германии и Венгрии, но в *Польше и Чехословакии советские войска останутся*. Предложение Брежнева о частичном отводе войск из “ГДР” нужно рассматривать в плане этих намерений. Затем, шаг за шагом, в течение 20 лет, Германия должна быть объединена. Таков план.

От себя добавим: конечно, объединение должно произойти в коммунистическом духе.

Об этом плане я не знала, но все же в своей статье наметила приблизительно эти линии развития. Для меня нет сомнения, что если у власти после выборов 1980 г. останется ныне существующая в Западной Германии коалиция, она начнет осторожно проводить этот советский план в жизнь.

ЗООТЕХНИК БАРБУ

Эмиграция влечет за собой сюрпризы. В условиях нормальной, преемственной жизни, можно проследить за политической и интеллектуальной биографией, ибо имеется много свидетелей каждого жизненного пути, и можно проверить то, что кто-либо писал и говорил. Михаил Меньшиков, ставший из толстовца националистом и антисемитом, или Лев Тихомиров, из народника превратившийся в ярого монархиста, менее всего нуждались в том, чтобы скрывать свое прошлое. И бывшие марксисты Сергей Булгаков и Николай Бердяев не утверждали, что они всегда были религиозными православными. Все эти люди столь разных взглядов по-разному пережили какой-то внутренний перелом, заставивший их стать не тем, кем они были.

Третья эмиграция из СССР неожиданно перевернула привычные представления. Некоторые эмигранты, попав на Запад, стали приписывать себе биографии, которых у них вовсе не было, объявляя себя защитниками взглядов, которых они раньше никогда не разделяли.

На этой почве происходят удивительные метаморфозы. Одна из таких метаморфоз произошла с профессиональным *партийным* журналистом Яновым, сделавшим своей прибыльной специальностью на Западе защиту "здоровых сил" в советском руководстве.

Идеолог русского национализма

Как нетрудно убедиться, Янов одно время сам был идеологом русского национализма или вернее пытался им стать

несмотря на свое еврейское происхождение. В 1969 г., когда на сцену впервые выступила группа неославянофильских писателей и критиков, когда казалось, что вот-вот контроль над культурной жизнью полностью перейдет к ним, Янов опубликовал в "Вопросах литературы" (1969, № 5) статью "Загадка славянофильской критики", открывшую дискуссию о славянофильстве. Кто знаком с советской жизнью, понимает, что статья, открывшая дискуссию, столь серьезную в политическом отношении, не могла быть *случайной* и не могла быть поручена *случайному* автору. Несомненно, что Янов открывал дискуссию по столь важному вопросу, будучи на это уполномочен. Советские дискуссии на важные идеологические темы иначе не делаются. Янов потребовал реабилитации славянофильства. Вот, что он писал: "Именно настаивая на первоизданной чистоте "народа" как хранителя национального предания, именно протестуя против "публики" как чужеродного в национальном организме тела, пришли они (славянофилы) к основополагающей мысли о необходимости выработки национального самосознания как обязательного этапа общественного самосознания, как первичной формы его. Вот почему, мне кажется, в этом мучительно медленном и противоречивом движении общественного сознания, каждый шаг которого завоевывался в жестокой борьбе, славянофилы тоже исполняли какую-то свою объективно необходимую функцию" (стр. 99).

Янов горько сетовал на то, что славянофилов считали "исключительно махровыми крепостниками, ретроgrадами и охранителями," и порицал за это советских критиков. Правда, признает он, у славянофилов можно найти разные отрицательные высказывания, но "тем ценнее, весомее и объективнее" их позитивная функция. Проблема славянофильства, по Янову, большая и сложная, и ее немислимо решить "посредством простого осуждения славянофилов без суда и следствия". Даже у Белинского, страстного противника славянофилов, пытливый Янов находит о них добрые слова, патетически восклицая: "Как это, в самом деле, мог настолько утратить бдительность неистовый Виссарион!" Янов призывает читателя понять "социальность и демократизм" следующего высказывания Ивана Аксакова: "Было время, когда русские верхние классы ... обольщенные

соблазном западной цивилизации, исполнившись духа самоотверженного подобоострастия ко всему чужеземному, спешили отречься от своей народности ... не имея возможности тотчас переродиться, они торопились перерядиться. Ложь чужой национальности, перенесенной в русскую жизнь, шеголяла открыто ... в напудренном парике ...". Янов вводит различие между охранительной и консервативной идеологией, утверждая, что славянофилы были консерваторами, а не охранителями. Стало быть нет "никакого смысла объявлять славянофильство разновидностью крепостнической идеологии", а "славянофильство было борцом против ... политического идолопоклонства, борцом за секуляризацию власти".

Я не вступаю здесь в полемику о роли и смысле славянофильства, я просто хочу показать, *что в свое время говорил Янов*. Но на основании этой статьи Янова еще трудно сделать вывод о его истинной позиции. Она становится ясной лишь из расстановки сил в дискуссии. Знаменательно, что наиболее решительно Янова поддержал Анатолий Иванов (1969, № 7). Этот А. М. Иванов, гораздо более известный под псевдонимом А. Скуратов, один из ведущих авторов "Вече", был в нем представителем именно антихристианской, даже неоязыческой фракции. (Ныне Иванов сблизился с Глазуновым и опубликовал письмо в его защиту). В своих эмигрантских публикациях Янов старается не упоминать о своем друге, но Иванов-Скуратов присутствует анонимно в его последующих сочинениях.

Проделав путь от демократа до крайнего националиста, Иванов, после нескольких лет принудительного заключения в психиатрической лечебнице, превратился в критика марксизма и режима справа. Я опять-таки не ставлю себе задачей критику Иванова. Я хочу лишь указать, с кем вместе выступал Янов в дискуссии о славянофильстве. Иванов поддержал Янова безоговорочно, несмотря на его спорное указание на то, что "последыши" славянофильства пришли в черную сотню. Сам Иванов восхваляет славянофилов безоговорочно: "Главной чертой, которую ценили славянофилы в русском народе, было вовсе не смирение, а общинный дух, как бы выразились теперь, чувство коллективизма, противопоставляемое индивидуализму и эгоизму буржуазного Запада" (стр. 131).

Единство Янова и Иванова в вопросе о славянофильстве само по себе не вызывает осуждения, но в своих поздних, эмигрантских публикациях, Янов предпочитает об этом умалчивать. В самом деле было бы странно, если бы выяснилось, что страстный обличитель русского национализма и Солженицына Янов выступал единым фронтом с его критиками справа. Ведь сейчас Янов называет себя "одиноким Кассандрой" борьбы против Солженицына*. Но он вовсе не одинок: с ним был Иванов-Скуратов.

Еще более знаменательна в дискуссии в "Вопросах литературы" позиция Вадима Кожина. Он, как и Иванов, поддержал Янова, но, пожалуй, более сдержанно. Кожин приветствовал Янова в 1969 г., включая и его идею о преемственности "черносотенства" от славянофильства. "Славянофильством, — говорит Кожин, — нередко называют чрезвычайно широкую и исключительно разнородную тенденцию в развитии русской общественной мысли — тенденцию так или иначе основанную на идее сущностной самобытности России. Это ясно выразилось, например, в статье Янова, открывшей дискуссию: славянофильство здесь — хотя и с оговорками — возводится к идеологии непосредственных противников петровской реформы, а своего рода завершающую его стадию автор усматривает в "черносотенной идеологии начала XX века". "Что ж, — с удовлетворением замечает Кожин, — если под славянофильством в широком смысле иметь в виду общую идею самобытности, Янов прав".

Кожин согласился и с весьма спорной идеей, согласно которой "черносотенство" вытекает из славянофильства, но потому лишь только, что вероятно для него "черносотенство" не является величиной отрицательной, и он рад был возможности через дверь, услужливо открытую Яновым, узаконить его вместе со славянофильством. Суть же славянофильства Кожин видит в "утверждении принципиальной самобытности России, ее образа жизни, ее культуры и, в особенности, самой русской мысли" (стр. 126). Но статья Кожина вызвала неожиданное недовольство Янова, что могло объясняться двумя причинами. Во-первых, круги, выразителем которых был Кожин, отнюдь

* "The Russian New Right", p. 20.

не были счастливы принять представительство со стороны *еврея*, вдобавок действовавшего по мотивам, которые могли показаться им подозрительными. Чувствовалось, что Кожин, будучи рад поводу высказаться о славянофильстве, отнюдь не соглашался с тем, чтобы этот *партийный журналист* вдруг оказался идеологом неославянофильства, а это и было именно то, к чему стремился Янов, и что было замечено Дементьевым, который в своей статье считал Янова вреднейшим продолжателем той линии, которая была начата "Молодой Гвардией".

Но могла быть и другая причина. К концу дискуссии отношение начальства к ней могло измениться, так что Янов, вначале ошибочно полагавший, что быть знаменосцем славянофильства приносит дивиденды, к концу решил сделать кое-какие оговорки.

Но как бы то ни было, Янов в лице Иванова получил поддержку тех сил, которые он позднее назовет "диссидентской правдой".

Одновременно Янову была дана еще одна уникальная возможность, которую он не без блеска использовал. В том же 1969 г. Янов впервые после 1917 г. задался целью реабилитации Константина Леонтьева. В своей статье он приложил все усилия, чтобы показать идеологическому начальству, что Леонтьев легко может быть приспособлен к советской идеологии. Янов старался сделать приемлемой даже идею "подмораживания" России: "Закрывать окно в Европу и заколотить в нее двери, предлагает Леонтьев, — поучает начальство Янов, — Но разве "подмороженная" Россия способна создать новую культуру? И где гарантия, что живой и тлетворный источник мешанской заразы снова и снова в нее не проникнет... Не было такой гарантии ... если не считать полного и окончательного сокрушения Европы. Страх подвигает Леонтьева на колоссальную гипотезу: лишь став лидером порабощенного Европой человечества, воспрянет "подмороженная" Россия и станет силой созидательной: способной к выработке новой культуры" ("Вопросы философии", 1969, № 8, стр. 105). Перевод ясен: СССР и есть осуществление леонтьевских идеалов, если их правильно понять, ибо он и есть "лидер порабощенного Европой человечества".

Надо было Янову и в этом случае иметь полное презрение к

читателю, чтобы утверждать 9-ю годами позже*, что его диссертация о Леонтьеве не была опубликована, и не сослаться на свою статью (в исключительно влиятельных "Вопросах философии"), где отражены все основные ее идеи. В то же время на некоторые другие свои статьи советского периода Янов ссылается, делая это, чтоб скрыть от англоязычного читателя статью о Леонтьеве 1969 года, ибо то, что говорилось в ней, полностью противоречит тому, что говорит Янов сейчас, доказывая необходимость быстрее "европеизации" России. Ясно одно: в 1969 г. Янов пытался выдвинуться как ведущий идеолог русского национализма, как пионер приспособления русской консервативной мысли к потребностям советской пропаганды.

Мародерство в "Новом мире"

Янов оказался одним из тех, кто немедленно стал печататься в "Новом мире", сразу после его разгрома. Ранее же он туда доступа не имел. В то время как интеллигенция объявила бойкот "Новому миру", уже в мартовском номере за 1971 год появилась рецензия Янова на книгу Гулыги о Гегеле. Сам выбор его первой публикации в "Новом мире" знаменателен. Славянофильская тема была Яновым основательно забыта. Славянофильство оказалось невыгодным, и Янов начинает поставлять "Новому миру" тошнотворную марксистскую псевдокритику, порою напоминающую худшие образцы критики 20-х годов. Янов не постеснялся даже утверждать, что "уникальная двойственность и противоречивость гегелевского учения проистекала из уникальной двойственности и противоречия положения прусской буржуазии"! (стр. 27). Эти слова Янова уместно вспомнить, читая его хвастливые рассказы о том, как он смело "полемизировал в СССР со своими "марксистскими оппонентами". А на самом деле Янов писал в поверженном "Новом мире": "Для того, чтобы превратить гегелевскую мысль в действительную "алгебру революции", классикам марксизма надо было самостоятельно и глубоко рассечь ее и дифференцировать, истолко-

*Ibid. p. 4

вать и развить, отбросив все то, что было в ней от "философии реставрации", но сохранив то, благодаря чему человечество научилось мыслить объемней, шире, отважней" (стр. 274).

В то время от критика уже и не требовалось такой услужливости. Янов добровольно выполнял услуги партийного пропагандиста, усиленно высматривающего "горячие точки", на которых можно было бы привлечь к себе внимание. В 1969 г. такой точкой казалось славянофильство, в 1971 году неомарксизм. В 1972 г. Янов публикует в "Новом мире" пространную статью о рабочем герое, представляющую классический пример советской пропагандной демагогии. В 1972 г. Янов даже напал в "Новом мире" на неославянофильского критика Ланшикова. К тому времени Янов знал о готовящемся выступлении против этого течения ответственного сотрудника ЦК Яковлева. Янов в своих взглядах всегда колебался в точном соответствии с линией отдела агитации и пропаганды ЦК КПСС.

Партийный социолог

Но еще более примечательно очередное перевоплощение Янова в партийного социолога, автора журнала "Молодой коммунист". В отличие от популярных среди интеллигенции "Нового мира", "Вопросов литературы", "Вопросов философии" — "Молодой Коммунист" не читается никем, кроме разве профессиональных комсомольских работников, так что Янов мог пребывать в полной уверенности, что никто даже не откроет его из одной лишь брезгливости. В "Молодом коммунисте" Янов в статье "Что положит на стол социолог" (1972, № 2) подробно, по-хозяйски рассматривает проблемы автоматизации труда на Пермском телефонном заводе и доказывает необходимость не только экономического, но и социального планирования. Что это такое? Это, оказывается, средство для партийных, комсомольских, профсоюзных организаций осуществлять эффективный социальный контроль над общественными процессами. "Такого рода социальный контроль, — говорит Янов, — выступил бы как дальнейшее развитие производственной демократии, к которому призвал XXIV съезд партии".

Но Янов не ограничивается лишь заботами о выполнении

решений съездов партии. На страницах того же журнала он выступает как активный кинокритик. Он дает, например, разбор неизвестного и недоступного нормальному кинозрителю молдавского фильма "Офицер запаса", в котором говорится о боевом командире, ставшем секретарем райкома (1972, № 6). Оказывается, пороком фильма была недостаточная выявленность насущных задач партии... "Когда, — пишет Янов, — в фильме появился молодой зоотехник Барбу, главный девиз которого "не будем спорить, но будем считать", мне на мгновение показалось — сейчас и пройдет передо мной "фильм года". Вот как! А, правда ведь, отличный девиз! Не будем, Янов, спорить, будем только показывать ваши вдохновенные перевоплощения.

Борец с русским национализмом

Итак в Дамаске (т.е. в США) Савл-Янов оказывается в новой ипостаси, в виде борца против русского национализма. Он публикуется на русском и английском языках, хотя, правда, тщательно разбирая где и что следует публиковать. Все же он свел почти все написанное им в книгу "The Russian New Right" (Berkeley, 1978). Заметим однако, что центральный тезис его книги — необходимость сотрудничества США со здоровыми силами в ЦК КПСС с целью совместного недопущения к власти противников Брежнева справа, из которых самым злобедным является грузчик одного из московских продовольственных магазинов Геннадий Шиманов — Янов благоразумно не опубликовал на русском языке: так как-то спокойнее, видимо, рассудил он. И то правда!

Уже из одного перечня рассматриваемых Яновым проявлений русского национализма видно, что его книга представляет собой грубое искажение общественной жизни в России. Он исключил из нее наиболее влиятельные течения, представленные в официальной жизни, ограничившись течениями оппозиционными, к тому же, крайне уродливо представленными. Похоже на то, что Янов оказывается лобби какой-то группы советского руководства (повидимому, т.н. "днепропетровской" группы!), которая боится, что будет выметена после ухода Брежнева.

Если заняться всерьез анализом советской общественной жизни, можно убедиться, что т.н. "правая" оппозиция представляет собой сложный спектр явлений, включая критический пересмотр советской истории, принципов советской общественной жизни и даже политики. Так, главный редактор "Нашего современника" поэт Сергей Викулов выносит суровый приговор коллективизации на страницах той же "Молодой Гвардии". Викулов, пользуясь игрой слов, говорит о "годе великого перелома", как о переломе костей (1978, № 5, стр. 135). Петр Проскурин в романе "Имя твое" (1977) ставит вопрос по существу о том, стоят ли нечеловеческих жертв народа (русского народа!) амбиции СССР стать сверхдержавой с водородным и ракетным оружием. Именно так открыто толкует роман Проскурина критик Шагалов в "Молодой Гвардии" (1978, № 1). Поэт Егор Исаев в поэме, изданной в 1978 г., символизирует страдания русского народа в советский период в образе Кремень-слезы. Мужики находят в лесу окаменевшую огромную слезу и рассуждают о том, кому она принадлежит. В конце концов сходятся на том, что слеза — вековая, мужицкая: и старая и новая.

С другой стороны, имеется преднамеренно опущенный Яновым целый пласт политической и художественной литературы, которая тоже является вызовом системе, но с точки зрения воинствующего антисемитизма: единственным источником зла в советской истории оказываются евреи. Надо сказать, что этот антисемитизм является также и оружием "здоровых" сил. В обширной уже антиссионистской литературе открыто утверждается, что главный внутренний враг — т.н. "сионизм", которому придается весьма расширенное толкование и который отождествляется, по существу, с космополитической коммунистической идеологией, в то время как понятие "коммунизм" видоизменяется и заменяется чем-то совершенно иным. Более того, происходит отождествление "сионизма", "масонства", "троцкизма". Главными носителями "антиссионистской" идеологии являются Ю. Иванов, В. Бегун, Емельянов, Евсеев, Шевцов, Колесников, Семанов, Софронов, Алпатов и другие. Шевцов утверждает, что вся страна находится под властью "сионистов". Недавно опубликованный Колесни-

ковым роман о Куйбышеве изображает его как сознательного борца против масонства в партии. Главный редактор "Молодой Гвардии" Анатолий Иванов опубликовал в 1976 г. роман "Вечный зов", трактующий советскую историю как борьбу против троцкистского заговора, причем Троцкому приписываются слова: "Мы разведем партию изнутри, мы должны выполнить нашу роль раковой опухоли" ("Москва", 1976, № 9, стр. 7). Если Шевцов, Колесников, Емельянов, Иванов — оппозиция, уж слишком она сильна, слишком уверена в себе. Это сила, которая либо стремится к власти, либо вот-вот окажется у нее.

Итак, вся картина, данная Яновым, является грубейшим искажением действительности, причем искажением сознательным, преднамеренным. Янов хочет представить историю так, что только сейчас коммунистическому руководству стали угрожать русские националисты. Это полностью противоречит фактам. Уже к 1927 г. течение, которое можно назвать национал-большевизмом, стало лидирующим в партии, а в 1934 г. праздновало свою полную победу. То, что происходит сейчас, это уже не борьба национал-большевизма с коммунизмом, как это было в 1927 г., а борьба внутри национал-большевизма, причем такая, что последним остаткам коммунистической идеологии, оправдывающей амбиции СССР как сверхдержавы, бросается вызов со стороны разных течений: от Солоухина до Шевцова.

Янов, называющий себя социологом, рисует настолько инфантильную картину борьбы внутри советского руководства, что трудно представить, как можно всерьез ее воспринимать. Получается, что в советском руководстве — лишь личный конфликт людей, имеющих различные взгляды, а все выглядит лишь как борьба идей, неизвестно откуда взявшихся. Нет почти ни слова, на какие социальные силы эти люди опираются. Но если бы Янов попытался дать социальный анализ, получилось бы, что весь тезис о "*здоровых силах*" не выдерживает ни малейшей критики. Дело в том, что т.н. "правая" оппозиция советского руководства опирается на реальный социальный процесс: демографические сдвиги в населении СССР, которые никакие "*здоровые*" силы не в состоянии предотвратить. Быстрое падение удельного веса русских в населении СССР и быстрое возрастание

удельного веса и абсолютной численности мусульманских народов ставит перед страной исключительно трудные задачи и даже ставит под вопрос саму устойчивость советской системы. Русская деревня исчезает, в то время как сельское население мусульманских районов не только не убывает, но быстро увеличивается. Быстрая урбанизация, являющаяся следствием научно-технической революции и, в основном, в русских районах, массовый алкоголизм подрывают русскую демографическую базу, основательно пострадавшую от революции, коллективизации, войны, депортации и т.п. Деревня, как утверждают в один голос Проскурин, Викулов, Исаев и многие другие, после войны еще раз была принесена в жертву амбициям СССР как сверхдержавы, ибо из нее черпались человеческие ресурсы для дальнейшей индустриализации, для строительства военной промышленности, для добычи урановых и иных руд. А сейчас, как утверждает, например Викулов, деревне грозит еще один "Перелом", после которого она уже не восстановится. Научно-технический прогресс, поставленный на службу сверхдержавным амбициям коммунистического лидерства, уничтожает не только деревню, он уничтожает основу русских как нации, ибо, попав в города, большинство бывших крестьян подвергаются там действию разрушительных социальных процессов. Дальнейшая экспансия, дальнейшее развитие индустрии, поставленной на службу ядерно-ракетной гонке, грозит катастрофой.

Если Михаил Исаковский мог раньше сказать: "Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна", то еще с большим основанием могут повторить этот лозунг нынешние "правые" в противовес "здоровым" силам, которые, пожалуй, сочтут слова Исаковского крамолой. Им теперь все нужно: и Ангола, и Мозамбик, и Уганда, и Афганистан, и берег кубинский. Изоляционизм, осуждение научно-технической революции, как опоры сверхдержавных амбиций дряхлеющего коммунизма, призыв к спасению природы, предчувствие смертельной схватки с миром Востока проникает писания "правых". Поэт Валентин Сорокин недвусмысленно дает понять, что он видит угрозу не столько в Китае, сколько в Азии вообще ("Молодая Гвардия", 1978, № 6). Правда всё это направление менее всего заботится о политических правах народа, оно беспокоится лишь о его физи-

ческом выживании. Все это можно принимать или не принимать, но важно понять, какие социальные механизмы питают оппозицию "справа".

Янов же утверждает, что "здоровые силы" будто бы являются сторонниками умеренного курса, разрядки и т.п., а оппозиция толкает Россию на агрессивный курс. На самом же деле все обстоит *как раз наоборот*. "Здоровые силы", делающие ставку на международное коммунистическое и террористическое движение, на разрядку, являющуюся на деле всемерным проникновением в западный мир, и есть самая агрессивная сила, угрожающая Западу, в то время как оппозиция им является силой изоляционистской. Перспектива легкого захвата Запада не может ее радовать и привлекать, ибо в этом случае легко представить себе, как "развращенные" западной цивилизацией русские люди, в попытке подчинить своему господству Запад, подпадут под его окончательное влияние и потеряют остатки национального самосознания.

Янову же надо что-нибудь отыскать, что послужило бы основанием обвинения русского национализма наших дней в агрессивности. Счастливой находкой для него оказался одинокий мечтатель Шиманов, проповедующий распространение во всем мире... Православия с помощью советской имперской силы. Этот ход Янова нечестен, но он очень ему выгоден. Янов отлично знает, что Шиманов не известен за пределами небольшого круга религиозных русских националистов, и тем не менее представляет его всемирным пугалом. Критика Янова сосредоточена на т.н. "диссидентской правой" с целью в первую очередь заклеить Солженицына, назвав его чуть ли не лидером русского фашизма. Тут Янов преследует цель — лишний раз доказать, как правы "здоровые силы" в борьбе против русских националистов. Янов пишет: — "А что делает со мной правительство... Вагина (!), со мной и с близкими ко мне по духу (!) — не русскими православными (и соответственно "не русскими"), не близкими к ВСХСОН и политически инакомыслящими? Не будет ли естественно для такого правительства — в конце концов — сослать меня навечно за границу? Но я ведь уже в изгнании!"* Вот оно что! Оказывается, Янов был изгнан, а

* "The Russian New Right", p. 35.

не выскользнул в США по израильскому вызову! Что-то уж никак не похожа на изгнание поездка Янова в США с целью защиты "здоровых сил"...

Столь же "серьезны" нападки Янова на "Вече", где он по возможности старается обходить молчанием деятельность своего соратника Иванова-Скуратова и историю конфликта в "Вече", полностью документированную в Самиздате, откуда читатель узнал бы, что конфликт этот возник в результате столкновения христианской и нехристианской фракций этого движения.

Лицо Янова приобретает еще большую рельефность, если заглянуть в т.н. "приложения" к его книге. Принцип их подбора ясен. Смешать в одну кучу материалы подлинные и фальшивые, дабы представить врагов "здоровых сил" в как можно более неприглядном свете. Одним из самых предосудительных поступков Янова является публикация им как подлинного документа т.н. "письма русских националистов" на "Радио Свобода", представляющего собой *заведомую фальшивку*. Кстати, почему вообще наличие того или иного антисемита на эмигрантской Радио Свобода должно говорить об опасности русского национализма в СССР? Но Янова истина не интересует. Ему необходимо лишь дискредитировать русских националистов в глазах некомпетентных западных читателей. Там русские, здесь русские — авось и отождествят! Мало фальшивого письма, давай сюда еще и старца Орехова, почти всю жизнь прожившего в эмиграции. Авось прочтут жалостливые люди и Брежнева пожалеют. Ведь не только зловещий Шиманов, но и Орехов из Брюсселя собирается в поход на "здоровые силы".

Впрочем, обильно насыщая свои приложения фальшивками и вытянутыми за уши документами, Янов старательно обходит молчанием и даже не ссылается на документы Самиздата, полностью противоречащие всей его концепции "диссидентской правый". Он не упоминает хорошо известное "письмо Самолвина", где Солженицын обвиняется в прислуживании к сионистам*, не упоминает статью своего соратника и друга Иванова-Скуратова против того же Солженицына, обвиняемого им в

* "Новый Журнал", 1975, № 118.

недостатке патриотизма. Не упоминает ультиматум "Вече" за то, что оно защищает Православие, которое, как и всё христианство, оказывается, является инструментом еврейского закабаления мира.* Между прочим Янов полностью обошел молчанием мои статьи, опубликованные на английском языке (причем в еврейских изданиях, в том числе с предисловием президента Израиля Эфраима Кацера),** где развивалась противоположная точка зрения. Но эти публикации ставили бы Янова в неудобное положение.

Защитник разрядки

Янов не ограничивается защитой "здоровых сил" внутри СССР. Он ополчается и на их противников в США, выступающих против т.н. "détente". Янов прикидывается, будто не знает, что официальные речи советских лидеров являются экспортным продуктом, еще в большей мере, чем речи Арбатова и других нынешних и бывших сотрудников Института США. Это все равно, что принимать за чистую монету утверждения Брежнева о советском миролюбии и о невмешательстве в дела других стран, об агрессивности США и т.п.

Янов сетует на "правительство Вагина", которое, возможно, плохо отнесется к нему в будущем. То, что "правительство Вагина" плохо отнесется к Янову, это вполне вероятно. А вот почему к нему хорошо относится американское правительство, которому он вместо благодарности за гостеприимство попросту морочит голову?

Хватит. Хватит Янова. Это не борьба с идеологией (это Брежнев-то "демократическая альтернатива"!) и уж никак не научный спор. Никакой идеологии, никаких взглядов у Янова отродясь не бывало. Литератора Янова нет, а есть безликий, служащий пропагандист!

Михаил Агурский, Иерусалим.

* "Август 14-го читают на родине", YMCA, 1973.

** M. Agursky "Russian nationalism and the Jewish question", in Moshe Davis (ed) "World Jewry and the state of Israel", N.Y., 1977.

ИКОНА КАК ЗЕРЦАЛО ТРИСОЛНЕЧНОГО СВЕТА ПРАВОСЛАВИЯ

Неповторимой и единственной в духовной традиции человечества историей является иконопись, которая сохраняется Православием с возникновения христианства. Икона — богоявление трисолнечного света божества, его зеркало — не может быть понята исключительно как явление эстетическое, но как явление умозрительно-богословское. Дерзновение, позволяющее отображать божественную славу в изделиях человеческих рук, такое дерзновение вполне законно: как говорит апостол Павел во 2-м Послании к Коринфянам (3, 18, X): "Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преобразуемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня духа". Законность священного познания путем иконописи скрыта в таинстве Боговоплощения, основном начале христианской религии. Это дерзновение человека, состоящее в символическом изображении божественной реальности путем образа является возможным для христианина лишь только потому, что сын Божий воочеловечился.

Человек носит в себе, с момента своего сотворения, образ и подобие Божие, первоначальную икону, данную самим Богом, икону, которая беспрестанно затемняется мраком греха, но которая является и неиссякаемым источником, узаконяющим

* Этот доклад был прочитан в двух американских университетах, в Барнард Колледже в Нью-Йорке и в Беркли, под заглавием "The Metaphysics of Icons" (апрель-май 1977)

всякое изображение божественного существа путем изображения или описания. Как пишет русский изограф нашего времени, умерший несколько лет тому назад, монах Григорий (в миру Георгий Иванович Круг), оставивший разрозненные записки, готовившиеся к печати¹: "Образ и подобие Божие в самом человеческом падении не может истлеть и должен неиссякаемо обновляться, оживать, очищаться и действием благодати и человеческого усилия-подвига непрестанно как бы писаться в глубинах духа. Подвигом-преподобием вписывается образ Божий внутрь человека и это созидательное усилие, непрерывное и неотъемлемое, является основным условием жизни человека, как бы неустанным напечатлением образа Христа на основе души"². Эта первоначальная икона, над которой простерся покров мрака после грехопадения, была полностью восстановлена благодаря воплощению Бога Славы.

"Бог совершенно неизобразим в Своем существе, непостижим в Своей сущности и непознаваем. Как бы одет неприступным мраком непостижимости"³. Что доступно изображению из несотворённого света, это излучение Божей благодати — Софии Премудрости Божией, — энергия которой организует мир и его озаряет. Если образ первообразной, изначальной, предвечной Славы не постижим для нашего плотского зрения и рассудка, то воплощение Сына Человеческого приоткрыло покров, который, к нашему отчаянию, застилает величие скрытого Бога, которое человек по своей природе вместить не может.

Для православного Предания, первоначальный иконный образ, первое священное изображение, являющееся по преимуществу первобытным источником и печатью свято-явленских изображений, — это икона Нерукотворного Спаса, т.е.

1) Отрывок из записей о. Григория Круга был опубликован в *Новом Журнале*, 1977, кн. 127, стр. 134-149 под заглавием "Трисолнечный Свет Православия". Только что вышел выборный свод из разных текстов иконописца: Инок Григорий Круг *Мысли об иконе*, Утса-Press, 1978 (прекрасный альбом, богато иллюстрированный)

2) *Мысли об иконе*, стр. 15-16.

3) Там же, стр. 22

икона, несотворенная рукой человеческой.⁴ Известна всем история, закреплённая в Предании, о том, как Авгар, царь города Эдесса в Малой Азии, получил плат (по-гречески "мандилион", по-славянски "убрус"), на котором Сам Христос напечатлел Свой лик. Это событие типично для всех событий, ритмирующих движение человечества к своему духовному завершению. Здесь историческая или социологическая критика могла бы нам дать лишь жалкие, позитивистские заключения, которые интересуют лишь тех, кто себе построил мир удобства, исходя из аксиоматических принципов, закрывая глаза и затыкая уши перед всем, что не входит в его априорную схему. Такие события, как событие, относящееся к Спасу Нерукотворному, можно лишь постичь в свете иероистории, священной истории, мета-истории. Событие-притча этого первоначального образа указывает на нераздельное сопряжение божественного и человеческого.

Иконоборцы (иконокласты) видели богохульство против божества в иконописном богословии, в котором они подчеркивали опасность идолопоклоннического извращения. Однако Православное Предание провело очень четкую грань между "почитанием" (приложением) (по-гречески "проскинесис") и "поклонением" (по-гречески "латрейя"), которое приличествует одному только Богу. Перевод на латинский язык этих двух терминов "проскинесис" и "латрейя" одним общим словом "адоратио" был источником непонимания латинянами богословского места иконы в христианской духовности⁵. Можно сказать, что смешение этих двух понятий "отравило в корне западное искусство" и является началом деградации, лаисизации священного искусства, которые продолжаются на наших глазах в Римской Церкви, где речь не идет о священных изображениях, а о произведениях на религиозную тему. Здесь уже не священное придает свою силу образу, здесь индивидуальное, эстетическое воображение пользуется священным, чтобы создать образ. Мне

4) Г. Круг "Трисолнечный свет Православия", *Новый Журнал*, 127, стр. 144-149.

5) Leonide Ouspensky *Essai sur la theologie de l'icone dans l'Eglise Orthodoxe*, Paris, 1960, p. 168

хотелось бы ещё раз процитировать монаха Григория, для которого "Нерукотворный Образ Христов является источником священных изображений, но и образом, изливающим свет и освящающим и искусство нецерковное. Например, в первую очередь, искусство портрета. В этом смысле икона в своем церковном богослужебном бытии не отделена от внешнего искусства, но подобна снеговой вершине, которая проливает ручьи в долину, наполняя ее и сообщая всему жизнь. Есть и иная сокровенная связь иконы с внешней нецерковной живописью. Икона зарождает в живописи, чуждой Церкви, совершенно подчас земной, таинственную жажду очерквиться, изменить свою природу, и икона в этом случае является небесной закваской, от которой вскисает тесто, в которое эта закваска попала".⁶

Св. Василий Великий говорит: "То, что рассказ сообщает путем слуха, это живопись показывает молчаливо через изображение (мимесис)"⁷. Эта фраза указывает, если бы в этом была надобность, на подлинную функцию не только всякой живописи, но и в частности иконописи, которая является выражением, равным в своем достоинстве устному и письменному Преданию, выражением сокровенной литургической жизни Православной Церкви. Иконописец не является простым копистом иконописных канонов, данных раз и навсегда, которые он механически и статически повторяет. Каноны, конечно, существуют. Они определяют известное число главных элементов, позволяющих каждому иконописному образцу иметь отличительные черты, благодаря которым его могут узнать верующие и благодаря которым иконописец избежит мимолетной реалистичности.

История в иконе получает весь свой смысл, лишь преобразаясь в иероисторию, в священоисторию. Это особенно можно видеть в одной из самых богословски богатых икон Православного Предания, а именно в иконе "Ветхий деньми". Это образ предвечного рождества Сына от Отца, это живописный перевод слова, переданного нам Иоанном Богословом: "Видяй мя, видяй и Отца" (Иоанн, 14,9). Это притча о всяком

6) Г. Круг "Трисолнечный Свет Православия", стр. 147.

7) Св. Василий Великий "О святых 40 мучениках" (Migne, P.G. 31, p. 509A)

священном изображении. Через человечество Сына созерцается его Божество. В иконе "Ветхий деньми" это Второе Лицо Святой Троицы, которое появляется в славе и образе Отца, согласно пророку Даниилу: "Видел я наконец, что поставлены престолы и воссел Ветхий деньми (Предвечный); одежда на нем бела, как снег и волосы на голове Его, как чистая волна (...) Затем видел я в ночных видениях, вот в облаках небесных шел как бы Сын человеческий, пришел к Ветхому деньми и подведен был к Нему" (гл. 7, с. 9 и 13).

Иконой "Ветхий деньми" мы, исходя из исторического воплощения Христа, проникаем в его смысл метаисторический. Это преобразование всякой плоти в духовную плоть передано живописно стилизацией, мелкими золотистыми лучами, в которых как будто запывает всё вещественное, всё материальное, передано и обратной перспективой.

Иконописная передача присутствия несотворенного света особенно ярко выражена в иконе Праздника Преображения, где слава божественного света наполняет своим излинием всю природу: "Распределение изображений на иконе (облако, осеняющее Спасителя, движение лучей, знаменующих Божественные силы-энергии, движение Фаворской горы и падающих стремглав апостолов), вся основа иконы говорит о свете и определяется светом. Светом наполнено облако-слава Духа Святого, осенившая Господа и одеяние Спасителя, белизна которого наполнена тонкой сетью золотых лучей, также знаменующих излучение Божественных сил. Отражение света, льющееся от Господа, просветляет ризы Моисея и Илии, и ризы апостолов, падших на землю, и ступенчатые выступы Фаворской горы (...) Складки (одежд Моисея и Илии) так же, как поднятые вихрем одежды апостолов, наполнены таинственным светом, идущим от Спасителя"⁸.

Всё в этой иконе стремится к изображению космического присутствия Фаворского света, учение о котором было определено св. Григорием Паламой. Фаворский свет это несотворённое излучение самого Божества, излучающее изливание благодати Святой Троицы, освящающей и озаряющей мир.

8) *Мысли об иконе*, стр. 62

Итак икона нам зрительно дает образ небесного Иерусалима, который, согласно Апокалипсису, "не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его" (21, 23). Нет светового очага, откуда исходит свет, нет брошенных теней, ибо этот свет пронзает всё материальное, брызжет отовсюду, со всех сторон, чтобы преобразить материю. Следовательно, перспектива, в своей иллюзорной ренессанской форме отсутствует в иконе не потому, что художники неискусны и неумелы, а потому, что перспектива изображения — представления обратна эмпирическому представлению — обманке. Икона не охватывает пространство согласно оптическим законам, по которым размеры предметов уменьшаются от их удаления и линии перспективы скрещиваются на горизонте, но, наоборот, эти линии скрещиваются в самом зрителе, сам зритель является горизонтом, в котором они сходятся. Из самого недр, так сказать, образа выходят снопы света, чтобы озарить того, кто его созерцает. Как пишет Леонид Успенский: "Обратная перспектива не является *trompe l'oeil*, обманкой; она не завораживает зрителя, чтобы его погрузить в тщетную игру видимости, она его успокаивает, сосредотачивает его, делает внимательным к благой вести иконы. Как будто человек стоит у входа пути, который, вместо того, чтобы затеряться в пространстве, открывается к бесконечности полноты".⁹

Всё в иконе, — будь то алогизм архитектуры, будь то непривычный порядок предметных элементов, способствует выходу представления из мира явлений, чтобы созерцатель образа находился в другом измерении, в измерении, к которому призывает аскетическое и мистическое учение Православия, в измерении чистой молитвы и восприятия. Посему икона является молчаливым богословием трисолнечного света Православия.

Иконный символизм является главным приёмом передачи несказанной истины. Что это такое иконный символизм? Это "непрямое выражение через образ того, что никакая форма, будь то пластическая или словесная, не может выразить прямо из-за того, что все средства недостаточны, беспомощны против той истины, которую они должны выражать. Язык таинства,

9) Леонид Успенский, цитир. произв., стр. 224.

символизм скрывает от непосвященных истины, которые он отображает и к которым он ведет тех, кто умеет их расшифровать".¹⁰ Этот иконный иеросимволизм можно лучше всего понять, рассматривая одну из самых почитаемых икон Православия, икону Святой Троицы, в иконописном изображении преп. Андрея Рублёва. Святая Троица не изображима в своём существе, и икона, носящая это имя, не может быть почитаемой "как изображение существа Божия, но следует, думается нам, отнестись к этой иконе, как к изображению глубочайшим образом символическому".¹¹ В книге св. Иоанна Дамаскина *Изложение истинного православного исповедания* (глава "О том, что говорится о Боге телесным образом") освещается иеросимволический характер священных изображений: "Так как мы находим, что в Божественном Писании весьма многое символически сказано о Боге очень телесным образом, то должно знать, что нам, как людям и облечённым этой грубой плотью, невозможно мыслить или говорить о божественных и высоких невещественных действиях Божества, не воспользуясь мы подобиями и образами и символами, соответствующими нашей природе. Поэтому то, что сказано о Боге очень телесным образом, сказано символически, и имеет очень возвышенный смысл, ибо Божество просто и не имеет формы".

Дальше св. Иоанн Дамаскин заключает: "Всё то, что телесным образом сказано о Боге, имеет некоторый сокровенный смысл, посредством того, что было с нами, научающий тому, что выше нас".¹²

Эти слова святого Дамаскина показывают нам, что без понимания церковного символизма невозможно постичь православное литургическое торжество, мистический опыт и мистерийную — почти сакраментальную — ценность иконы. Ведь сотворенный тварный мир носит в себе эту символическую природу, носит в себе божественную печать и весь повёрнут — гелиоцентрически, центростремительно — к Тому, Кто всё

10) Leonide Ouspensky *Essai sur la theologie de l'icone*, op. c., p. 19

11) *Мысли об иконе*, стр. 34

12) Св. Иоанн Дамаскин, Migne, P.G. 94, p. 841. Это место процитировано о. Григорием Кругом. *Мысли об иконе*, стр. 34-35.

сотворил посредством Софии, Святой Премудрости.

Только так можно рассматривать образ Святой Троицы, как всякий священный образ вообще. Для Православного Предания самым совершенным иконописным канонem этого образа является канон, почерпнутый из первоначального образа, описанного в библейском рассказе о богоявлении Святой Троицы в виде трех путников перед Авраамом и Саррой при горе Хобар. Канон этой иконы устанавливался постепенно, он мало-помалу избавлялся от всех исторических, реалистических или анекдотических элементов, чтобы найти свою вершину в произведении, написанном преп. Андреем Рублёвым для церкви Святой Троицы в Свято-Сергиевской Лавре, ныне в городе Загорске. На московском Стоглавом Соборе, при Иване Грозном, в 1551-м г., икона преп. Андрея Рублёва была объявлена иконописным канонem по преимуществу церковного изображения Троицы. Икона Троицы преп. Андрея Рублёва завершила богословское движение, которое стремительно пробивало себе путь во всех других изображениях трёх путников, явившихся Аврааму и Сарре. Очень часто библейское событие было изображено в чисто человеческом образе. В иконе же преп. Андрея Рублёва всё предшествующее ей несовершенство исчезло. Она выражает равнодостоинство Трёх Лиц, трёх ипостасей Святой Троицы. Иконописное движение сопрягается здесь совершеннейшим образом с литургическим церковным движением.¹³

Можно сказать, что рублёвская икона Святой Троицы является единственным иеросимволическим образом, выражающим в совершенстве то, что доступно представлению о троичном таинстве. Богословское совершенство этой священной иконописи заключается в том, что Святая Троица описана в одном образе триединого единства. Во всех других изображениях мы всегда встречаем неравновесие в изображении этого триединого единства. Самое большое иконописно-богословское неравновесие мы находим в символическом изображении Бога-Святого Духа в образе голубя, или лучей света, или облака, или огненных

13) См. подробное богословское описание рублевской Троицы у Г. Круга, *Мысли об иконе*, стр. 36 и след.

языков. Но здесь нет полноты изображения Святого Духа со славой и достоинством, целиком равными славе и достоинству двух других Ипостасей.

Надо хорошо понять смысл той "человечности", которая придана Трём Ангелам. Ни в коем случае эта "человечность", так сказать "антропоцентричность", не относится к самой природе Божества. Как пишет монах Григорий (Круг): "Образ человеческий и образ ангельский взят для изображения Святой Троицы не потому, что в самой божественной природе есть нечто подобное, но потому, что такой образ (из того, что доступно изображению) указан нам в самом явлении трёх Ангелов Аврааму, и, надо думать, лишь предельно символически может пониматься этот образ".¹⁴

Итак, через иконописное богословие Святой Троицы мы лучше постигаем место, занимаемое всякой свято писанной иконой в церковном соборном движении. Через иеросимволическое иконное изображение мы привлечены к поклонению перед трёхсолнечным светом Божества. Здесь истинный источник иконопочитания, без которого церковная соборная жизнь лишена литургической части, такой же существенной, как то, что выражено словами или музыкой.

Вне Церкви икона рассматривается, в лучшем случае, как эстетический предмет с повторными, иератически застывшими формами. Между тем, икона не священный предмет среди других священных предметов. Её священный характер озаряется пророческим дуновением, брызжущим из неё. Трисолнечный свет Божества, которое отображается в ней, как в зеркале, по мере, конечно, его доступности, предшествует последнему, эсхатологическому преображению человечества, "восьмому дню". Лишь в этой эсхатологической перспективе икона получает полноту своего смысла. Она является одним из голосов церковного собора, полифонии Христова тела, устремляющейся к свету будущего века. Икона в своем преобразовании всякой плоти в духовную плоть причастна дыханию Церкви, движимой Духом Святым. Иконы не воспроизводятся механически, они

14) там же, стр. 41

рождаются снова и снова, они даже изменяются, но всегда хранят нечто единое, обобщённое единым Преданием Православия — согласно которому икона есть зеркало, отображающее в более и более верной иеросимволике трисолнечный свет Божества.

И. Маркадэ

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

АЛЕКСАНДРА ЛЬВОВНА ТОЛСТАЯ

1884 — 1979

26 сентября с. г. на 96-м году жизни скончалась Александра Львовна Толстая. А.Л. была другом и старейшим сотрудником "Нового Журнала". В первых трех книгах "Н.Ж." Александра Львовна напечатала отрывки из своего романа "Предраассветный сон", к сожалению, не оконченного. Мы выражаем нашу глубокую скорбь о кончине замечательной русской женщины Александры Львовны Толстой. Мы печатаем биографический очерк о ней любезно присланный нам директором Толстовского Фонда кн. Теймуразом Константиновичем Багратион-Мухранским. РЕД.

Александра Львовна Толстая, младшая дочь Льва Николаевича, родилась 1-го июля 1884 года. При жизни отца она была его секретарем, помощницей и всю последующую жизнь шла по его заветам служения ближним.

В 1901 году Александра Львовна начала помогать отцу и стала его секретарем. В ее обязанности входила переписка рукописей Льва Николаевича и ведение корреспонденции. В то же время она работала в созданной ею больнице и в местной школе. В своей книге "Трагедия Толстого", изданной в 1931 г., она рассказывает о своей глубокой привязанности к отцу в последние годы его жизни. Она повсюду сопровождала Толстого и, как известно, находилась вместе с ним на железнодорожной станции Астапово, где Лев Николаевич скончался от воспаления легких в 1910 г.

Будучи душеприказчиком литературного наследства своего отца, Александра Львовна подготовила, согласно выраженной им воле, издание не напечатанных его трудов. На вырученные от продажи этого издания деньги (500,000 рублей) Ясная Поляна была выкуплена у его наследников, — вдовы и детей, — и отдана в собственность крестьянам.

Годы между смертью Толстого и началом Первой мировой войны Александра Львовна провела в Европе, и в купленном ею поблизости от Ясной Поляны имении открыла конский завод. В 1914 году Александра Львовна прошла повторные курсы по анатомии, патологии и другим предметам. После окончания курсов А. Л. стала сестрой милосердия и была прикомандирована к санитарному поезду для приема раненых. В 1915 году, когда в русской армии, действовавшей на Турецком фронте, вспыхнула эпидемия сыпного и брюшного тифа, А. Л. поступила в отряд Красного Креста, сформированный для борьбы с эпидемией. За усердие, проявленное на фронте, Александра Львовна была награждена Георгиевской медалью. Оправившись после приступа малярии, она стала исполнять административные обязанности в организации по оказанию помощи в прифронтовой полосе, заведовала школами и питанием 10,000 беженских детей. Затем А. Л. была назначена начальником военно-медицинского отряда на Западном фронте. Чин ее был равен полковнику и она находилась во главе трех медицинских отрядов из 450 человек каждый. Во время немецкой газовой атаки А. Л. была отравлена и увезена в госпиталь, где находилась с конца 1916 года и до начала февральской революции 1917 года. За свою работу во время газовой атаки А. Л. была награждена второй Георгиевской медалью. По выходе из госпиталя она вернулась к исполнению своих обязанностей в военно-медицинскую часть. За свою работу здесь А. Л. получила третью Георгиевскую медаль.

После революции 1917 года Александра Львовна организовала в Ясной Поляне учебно-просветительный центр, объединив группу профессоров и членов Академии Наук для работы над изданием полного собрания сочинений Толстого в 91 томе. Печатание этого издания было начато советским правительством в 1928 году и только недавно доведено до конца.

В Советской России А. Л. была арестована пять раз, и в 1920

году была приговорена к трем годам тюремного заключения после того, как группа "белых" тайно собиралась в ее доме. Находясь в заключении, А. Л. организовала школу и хор. Это время описано ею в книге "Проблески во тьме".

После года тюрьмы Александра Львовна была освобождена без суда. В 1921 году была назначена хранителем Ясной Поляны, превращенной в музей и культурно-просветительный центр. Она занимала этот пост восемь лет и успела создать за это время лечебницу, аптеку, клинику, четыре начальных школы и ремесленную школу. В 1924 году эта школа подверглась нападкам власти и туда был прислан инструктор политграмоты. Неисполнение советским правительством договоренности при создании яснополянской школы и введение антирелигиозной пропаганды было одной из причин, заставивших Александру Львовну прийти к решению уехать из СССР. В октябре 1929 г. она получила от советского правительства разрешение на чтение лекций о Толстом в Японии. В Японии в течение почти двух лет она читала лекции по-русски и по-английски, посетила Токио, Осаку, Киото и другие города, приобретя себе верных друзей среди японцев. Будучи вызвана советским представительством в Японии, она отказалась от возвращения в СССР, став "невозвращенкой", как это теперь называют.*

В 1931 году А. Л. приехала в США. Она читала в ряде школ, университетов и клубов лекции о Льве Николаевиче Толстом и о том, что представляет из себя коммунизм. Несколько лет она занималась сельским хозяйством, сначала в Нью Сквэр, Пенсильвания (1931-33), затем в Хэддам, Коннектикут (1933-39). Там она разводила кур, доила коров и занималась полевыми работами. В это же время ею была написана книга "Трагедия Толстого". Десять лет, проведенных Александрой Львовной в Сов. России, описаны ею в книге "Я работала для Советов". Эта книга вышла на английском в 1934 году. Еще одна книга А. Л. — "Жизнь Льва Толстого. Мой отец" вышла в 1953 году в США и в Лондоне. Книга была переведена на восемь языков — финский, французский, датский, японский, испанский, шведский, русский и иврит.

* Этот период ее жизни описан в книге "Дочь" (1979).

В 1939 году Александра Львовна и многолетний ее друг Татиана Алексеевна Шауфус, совместно с такими представителями русской эмиграции как Сергей Васильевич Рахманинов, Борис Александрович Бахметев, Борис Васильевич Сергиевский и др., создали Толстовский Фонд и привлекли к участию в нем тех американцев, которые работали в АРА во время голода в 20-х годах в Советской России.

Первоначальной целью Фонда являлась помощь русским эмигрантам; впоследствии эта помощь распространилась и на всех беглецов из коммунистических стран. При содействии Толстовского Фонда в США въехало 40,000 людей. Толстовский Фонд имел от 10 до 15 отделений в Западной Европе, на Ближнем Востоке и в Южной Америке.

В 1941 году Александра Львовна приняла американское подданство и в том же году Толстовский Фонд получил в дар Рид Фарм, — 74 акра земли в Рокланд Каунти, поблизости от Нью Йорка. Ферма эта, известная под именем Толстовского Центра, была постепенно усовершенствована: на ее территории были сооружены различные постройки, собрана библиотека в 15,000 томов, построена церковь и открыт лагерь для детей. За время существования фермы тысячи эмигрантов и их семейств находили там приют и пользовались помощью до тех пор, пока они не находили заработка. Старческий дом и дом для хронически больных на 96 человек были также построены на ферме, что потребовало больших усилий со стороны Александры Львовны.

Александра Львовна была убежденной анти-коммунисткой. Она сыграла большую роль в перемене отношения американских властей и правительства в Вашингтоне к русским беженцам после Второй мировой войны. Ей, а также Татиане Алексеевне Шауфус, удавалось добиться перемены многих несправедливых правительственных решений в отношении русских беженцев. Многие из них не смогли бы приехать в Америку без помощи Александры Львовны и Татианы Алексеевны. К числу таких приехавших принадлежат калмыки, Русский Охранный Корпус, русские, вывезенные из Китая на остров Тубубао, и отдельные беглецы.

До самого последнего времени А. Л. читала лекции о

Толстом, о русских эмигрантах, о работе Толстовского Фонда. Александра Львовна любила беседовать со студентами американских колледжей и университетов, которые приезжали повидать дочь Толстого. Вся работа ее и Татианы Алексеевны Шауфус изложена в ее новой книге "The Uprooted", освещающей работу Толстовского Фонда со дня его основания по оказанию помощи беженцам.

А. Л. всегда заботилась о русской молодежи и о русских детях. До того, как в 1970 году стали строить Норсинг Хом Толстовского Фонда, на ферме ежегодно открывался детский лагерь для 80 русских детей. Детям преподавали Закон Божий, русский язык и литературу.

За долгие годы своей самоотверженной работы Александра Львовна вызвала горячие отклики, как среди правящих кругов Америки так и среди разных организаций. Президент Труман в мае 1946 г. отметил ее гуманитарную работу во время Второй мировой войны. Сенаторы поддерживали ее неумолимую деятельность по допущению в США лиц, пострадавших от коммунизма. Конгресс Русских Американцев ввел ее в "Палату Славы", как выдающуюся русскую женщину. А. Солженицын, поздравляя ее с 95-тилетием писал: "Лев Николаевич был бы счастлив от объема Вашей работы и от ее направления". Японский профессор, переводивший ее книги на японский, десятилетиями поддерживал с нею связь. Ученицы Ясно-полянской школы присылали ей привет, как создательнице этой школы.

1-го июля 1979 г. Александре Львовне исполнилось 95 лет. "Жизнь этой замечательной русской женщины не вмещается в рамки статьи, — пишет в предисловии к ее последней книге "Дочь" проф. Сергей Крыжицкий, Жизнь Александры Львовны неуклонно протекала в двух направлениях: жизнь с отцом, для отца, во имя основных отцовских идей — добра, справедливости, правды, служения ближнему — и жизнь для России, для своего народа". 26 сентября 1979 года Александра Львовна скончалась.

THE WHITE HOUSE

WASHINGTON

October 5, 1979

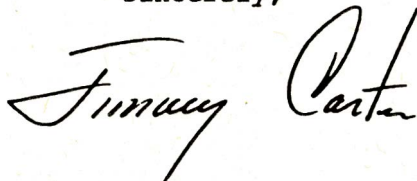
To Teymuraz Bagration

Rosalynn and I were saddened to learn of the death of Alexandra Tolstoy. With her passing we have lost one of the last human ties with a great age of Russian culture.

All of us can take solace from the legacy she has left behind. I am mindful not only of her efforts in preserving her father's literary heritage, but also of the enduring monument to her humanitarian work, embodied in the Tolstoy Foundation which she founded some forty years ago.

Alexandra Tolstoy will always be remembered by the thousands who benefited from her assistance when they entered a new life in this country as free men and women.

Sincerely,

A handwritten signature in cursive script, reading "Jimmy Carter". The signature is written in dark ink on a light-colored background.

Текст соболезнования Президента США по поводу кончины А. Л. Толстой, посланный директору Толстовского Фонда Т.К. Багратиону РЕД.

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

ПЕРСИДСКИЙ ТРЮК

Среди новейшей эмиграции из Советского Союза начала выделяться группа авторов, которые из неприязни, боязни, отталкивания вообще ли от религии или только особенно от православия, более всего опасаются, что оно в будущей России сможет занять достойное и духовно-влиятельное место. Им следуют и некоторые западные журналисты в крупных газетах. Казалось бы, перед их глазами есть хотя бы пример Польши, где Церковь благотельно владеет душами народа вопреки давящей атеистической диктатуре. Или пример Израиля, где религии отведена влиятельная душеобразующая и даже государствообразующая роль. Но они обходят эти примеры, отказывая России в том, что разрешается другим народам. Почему-то напуганные всякой возможностью именно русского религиозного возрождения (уже реально идущего под смертельным давлением коммунизма), эти авторы, из своего безопасного убежища, спешат опорочить наше возрождение перед западными читателями. Эти люди и эти перья то бесстыдно сплетают православие с антисемитизмом, даже отождествляют их. То, в последнее время, применяют низкий политический прием, который я назвал бы "персидским трюком": жестокости мусульманского фанатизма в Иране лепят ярлыком на лоб возрождающемуся православию России, мечут в глаза персидским порошком человеку, встающему с ниц на колени. Политически — это эффектный бьющий трюк, и его используют люди безответственные, мало озабоченные глубиной, плодотворностью и основательностью будущего взаимопонимания освобожденной России и Европы. Но именно нас, жертв коммунистического фана-

В дополнение к статье М. Агурского мы считаем нужным перепечатать заявление А.И. Солженицына, появившееся в газете "Ди Вельт", в журнале "Экспресс" и в "Нов. Русс. Слове". *РЕД.*

тизма, уже не может привлечь ничей фанатизм никогда. Ни в каких проявлениях, ни в чьих высказываниях нынешних русских религиозных и культурных деятелей вы не найдете никакого оттенка, сходного со структурой сегодняшней религиозной мысли и власти в Иране. (В частности, автор "Архипелага" удостоивается дружных обвинений, что именно он хочет новых Архипелагов и аятолл, — такого не издумывала даже и советская пропаганда.)

В этом ряду может быть наиболее нетерпеливо, опрометчиво и громко бросил обвинения во французской и германской печати парижский профессор Эткинд. Бывают люди, весьма развитые интеллектуально и очень остро политически, но совсем не развитые духовно, в частности и особенно к восприятию религии, — у них как бы не достает воспринимающего органа. Такую неразвитость, увы, и проявляет Эткинд, уподобляя православие... ленинской идеологии. В остальном он действует в русло "персидской кампании", приписывая мне высказывания, никак мне не свойственные, никогда мной не произнесенные, нигде не напечатанные. (С истерическим усердием подхвачено газетою "Die Zeit" 28. 9. 79.).

Вся эта кампания против русского религиозного возрождения может опасно отравить сознание западного читателя, ибо побуждает его бояться и ненавидеть именно те силы в нашей стране, которые одни только и представляют неразрешимую проблему для советского правительства и одни способны в будущем установить прочное мирное дружное соседство с неугнетенной Европой. Обратная сторона этой кампании примирение с правящим коммунизмом как с "меньшим злом" — и кроткое ожидание, когда он раззявит свою пасть для глотания.

А. СОЛЖЕНИЦЫН, Октябрь, 1979

БИБЛИОГРАФИЯ

ПРОФ. Ф. П. БОГАТЫРЧУК И ЕГО КНИГА

Воспоминания проф. Ф. П. Богатырчука — выдающегося ученого, известного шахматиста, общественного и политического деятеля — рисуют перед читателем гораздо более широкую картину, чем можно предположить, по заглавию — "Мой жизненный путь к Власову и Пражскому Манифесту" (Сан-Франциско, Глобус, 1978, 335 стр. с иллюстрациями). Как указывает издательство СБОНР в предисловии, труд этот является "пятым выпуском серии материалов по Истории ОДНР. Автор книги единственный член Президиума КОНР, оставшийся в живых". Поэтому его свидетельства приобретают особую ценность, как бы ни относились к ним читатели этой содержательной книги. Автор подчеркивает, что излагает всё, "почерпнутое преимущественно из личных наблюдений, мыслей и переживаний" на протяжении 65 лет — с 1911 по 1976 год.

Первая часть книги Ф. П. Богатырчука, родившегося в Киеве в 1892 г., окончившего там же медицинский факультет Университета св. Владимира, защитившего в 1940 г. диссертацию на степень доктора медицинских наук, опытного врача-рентгенолога, преподававшего в высших учебных заведениях Киева, посвящена всему виденному и пережитому на Украине в 1911-1943 годах. Она содержит также интересные сведения о преданном служении "шахматной богине" этого талантливого русского шахматиста. Ф. П. Богатырчук, был бессменным чемпионом Киева, дважды завоевавшим звание чемпиона Украины, в 1927 г. в Пятом Всесоюзном шахматном чемпионате разделил первый и второй призы с П. А. Романовским, и считался, как и этот последний, чемпионом СССР. Однако после эмиграции проф. Богатырчука из СССР его вычеркнули из списка советских мастеров и

стали упоминать только Романовского как единоличного чемпиона этого года.

Написанная разговорным языком, порой не чуждым погрешностей против литературных норм, книга дает представление не только о мире шахматистов, описанном увлекательно, но и о быте обитателей Киева за весь охваченный в ее первой части период.

Вторая часть труда проф. Богатырчука посвящена, в основном, Освободительному Движению Народов России и весьма важна для историков. Приводя текст Манифеста, подписанного генералом А. А. Власовым, 37 членами и 12 кандидатами КОНР в Праге 14 ноября 1944 г., Ф.П. Богатырчук, впервые познакомившийся с этим документом "в комнате рядом с кабинетом Власова", напоминает и о ряде критических замечаний, сделанных им в разговоре с Власовым еще до принятия Манифеста, а затем приводит и свои более поздние соображения. Он отмечает, что ко времени составления Манифеста, Власов уже считал большевизм, а не только "сталинскую клику" (как это было в более ранних подписанных им листовках) виновником несчастий, постигших народы России. Разговорам с Власовым, сильному впечатлению которое он производил, посвящены многие строки книги.

Интересны краткие, но выразительные характеристики генералов Малышкина, Трухина, Жиленкова и Закутного, а также первые впечатления автора от структуры КОНР и организации его работы. Однако дальнейшие страницы занимает длинный перечень разочарований в том, что "немцы всё обещали, но ничего не исполняли".

Возмушало членов КОНР и полное непонимание их миссии со стороны немецких властей. Так, на удостоверениях личности, полученных всеми членами Комитета, с одной стороны, подписью генерала Власова удостоверялась их принадлежность к КОНР, а с другой стороны, говорилось "о нашей принадлежности к частям СС"! Возмущенный этим генерал Закутный сразу разорвал на мелкие куски такое полученное им удостоверение.

В декабре 1944 г., когда внутри КОНР были организованы национальные советы — Великорусский, Украинский, Белорусский, Народов Кавказа, Туркестанский и Главное Управление Казачьих Войск — председателем Украинской Национальной Рады был избран профессор Богатырчук, принявший этот пост в надежде, что ему удастся добиться оказания всемерной помощи военнопленным и отмены значка OST.

С горьким чувством описывает проф. Богатырчук черепаший темпы

формирования войск ОДНР, несомненно отрицательное отношение немцев не только к генералу Власову, но и к самой идее ОДНР, последние три месяца существования КОНР в Карлсбаде и последние два месяца борьбы вооруженных сил ОДНР, от руководства которыми Власов был фактически отстранен и которого немецкое командование даже не считало нужным уведомлять о своих приказах этим русским частям.

Заканчивается вторая часть рассказом о переезде проф. Богатырчука с семьей в Канаду в 1948 году. В третьей части автор описывает свою жизнь в Канаде, где он, по его словам, старался, по возможности, "вправлять мозги" своим новым согражданам, освещая их об отрицательных сторонах тоталитарного строя.

Для шахматистов особенно интересным, вероятно, будет письмо Ф. П. Богатырчука в редакцию английского журнала "Чесс" (июль 1949) об использовании коммунистами шахмат для политических целей, и вызванная этим письмом полемика. В книге приведен полностью и резкий ответ гроссмейстера Л. Пахмана, тогдашнего чемпиона Чехословакии, помещенный в том же журнале (янв.-февр. 1950). Коммунист Пахман, упрекая Богатырчука во лжи и в клевете на Советский Союз, не предвидел, что впоследствии его, как приверженца Дубчека, посадят в тюрьму, а еще через год, полуживого, но не "раскаявшегося", лишат чехословацкого гражданства, объявят врагом народа и вышлют в Западную Германию. А в 1974 г. советские мастера откажутся играть с ним, как с изменником.

В 1950 г. Ф. П. Богатырчук, в то время уже работавший в Оттавском университете, связался с Американским Комитетом Освобождения Народов России в Нью-Йорке и представил главе Департамента общественных отношений докладную записку об украинском национализме и сепаратизме. Все более погружаясь в политическую деятельность и чуть не став директором радиостанции "Свобода" в Мюнхене (стр. 266-268), автор в 1952 г. снова летит в Мюнхен для участия в организации КЦАБ (Координационного Центра Антибольшевистской Борьбы).

В 1953 г. Американский Комитет Освобождения (к тому времени так сокративший свое название) отказался от дальнейшего финансирования эмигрантских политических организаций. Ф. П. Богатырчук подробно сообщает о долго державшихся в секрете переговорах.

Однако политическая деятельность не помешала проф. Богатырчуку принять участие во Втором Всемирном конгрессе геронтологов, состоявшемся в 1954 г. в Лондоне, и в Международной шахматной олимпиаде в Амстердаме, где он играл в составе канадской команды.

В 1955 г., значительно усовершенствовав свою методику рентгенологических исследований, Ф. П. Богатырчук получил за работу "Стареющий позвоночник человека" приз и медаль имени Баркляя от Британского общества радиологов, а осенью 1956 г. был приглашен участвовать во Всеамериканском конгрессе геронтологов в Мехико. В 1957 г. он отправляется на Четвертый международный геронтологический конгресс в Италию, где ему довелось встретиться со своими бывшими коллегами по Советскому Союзу, с большим интересом выслушавшими его доклад.

Активно участвуя в различных конгрессах и неумоимо занимаясь научной работой, проф. Богатырчук в 1960 г. был избран почетным членом Канадского Общества рентгенологов и радиологов, а в 1965 г., завершив свою 35-ю работу, написанную в стенах Оттавского университета, стал ординарным профессором этого университета.

Казалось бы, этим перечнем успехов, достигнутых эмигрантом в заокеанской стране, автор закончит свою содержательную книгу, столь разнообразную по воспоминаниям и размышлениям. Но последняя ее глава является апологией генерала А. А. Власова, в которой человек, близко знавший его и наблюдавший его при различных обстоятельствах, категорически отвергает обвинения "некоторых представителей культурной элиты демократического мира", что Власов, мол, был "просто изменником". Он пишет: "Все мы слышали, как бесстрашно бросал он в лицо нацистам такую горькую правду, какую до него никто говорить не осмеливался".

Несколько дальше Ф. П. Богатырчук напоминает о том, что "о неискренности либо двуличии Власова нет упоминания ни в одних литературных и документальных данных о его личности, опубликованных после войны в немецких, союзных, либо даже советских источниках". Переходя к обвинению Власова якобы в уступчивости требованиям нацистов, проф. Богатырчук подчеркивает, что уже "установленным фактом является то, что именем Власова нацисты творили дела, о коих он не имел ни малейшего представления. Это относится, например, к части "Власовских листовок", сброшенных за линией восточного фронта, которые имели антисемитские выпады". С

возмущением отвергает автор и еще одну выдумку — Власов-де, был хроническим алкоголиком: "Ни разу за все мое общение с Власовым я не видел его пьяным, либо даже слегка в "подпитии". Мне пришлось жить с ним на одном этаже отеля и видеть его иногда не один раз в течение суток. Даже в последние недели перед крахом он сохранял ясную голову". Однако, чтоб не идеализировать генерала Власова и не делать иконы из этого "выдающегося сына великого народа", Ф. П. Богатырчук указывает на некоторые, по его мнению, весьма существенные недостатки возглавителя ОДНР: "Власов был генералом, привыкшим командовать и не терпевшим ослушания. Такому человеку очень трудно перевоплотиться в настоящего демократа, хотя он по мере сил и старался это сделать. В особенности трудно было ему прислушиваться к голосу гражданских лиц ... Не гармонировали и чересчур простецкие манеры Власова с его положением вождя и генерала. Под конец он подшлифовался, но все же не вполне ... И, наконец, самое важное: несмотря на все горести и разочарования Власов в глубине души оставался членом коммунистической партии, верившим в марксистскую утопию, но, конечно, с пресловутым "человеческим лицом".

Разные читатели будут по-разному судить, прав или не прав проф. Богатырчук как в оценке ген. Власова, так и во взятой им самим политической линии. Несомненно одно — книга его очень полезна и ценна при изучении как истории Освободительного Движения Народов России, так и стремлений и чаяний послевоенных эмигрантов, осевших в США и Канаде.

Татьяна Фесенко

ЛЕОНИД РЖЕВСКИЙ. Дина. Роман. Изд. "Нового Русского Слова". 1979.

Роман Леонида Ржевского "Дина" с подзаголовком "Записки художника" печатался в газете "Новое Русское Слово". Успех романа у читателей побудил редакцию выпустить его отдельной книгой.

Трудно совместить в одном лице литературоведа и мастера художественной прозы. Но есть исключения. И Леонид Ржевский как раз принадлежит к ним. Но если эротика его прежних прозаических произведений представляется мне несколько надуманной, то в "Дине" этой надуманности, надо сказать, нет и следа. В раскрытии характерной

для Ржевского темы настоящей любви автор в этой книге глубок и пронизателен, хоть и не лишен иногда мелодраматизма. Не механическим сооружением сложного фабульного лабиринта занимается в этой книге Ржевский, а интересным открытием человеческих характеров. Особенно ярко выписан образ Дины, героини романа. В СССР она жила двойственной жизнью: была комсомолкой, даже стукачкой, но только под сильным нажимом, когда иного выхода не было. Свою же внутреннюю жизнь Дина скрывала не только от других, но и от самой себя. В СССР Дина вышла замуж за иностранца Вилли и уехала вместе с ним за границу. Вне СССР Дина продолжала вести прежнюю двойственную жизнь. Но здесь автор показывает, как в свободном мире представление Дины о жизни начинает меняться. В этой перемене постепенно играет большую роль любовь к художнику, от имени которого и ведется повествование.

Художник — умный человек с талантом и душой — понимает поведение Дины и чутко относится к ней. И под конец читатель видит искреннее исцеление Дины. Об этой душевной двойственности советских людей автор пишет: "Россия теперь — гигантская фабрика двойников — утверждает Моб (сестра художника, от имени которого ведется повествование). Вдруг переделать человеческую душу немислимо, и ее расшепляют, чтобы приучить ненавидеть то, что ненависти не заслуживает". Но перелом в душе Дины показывает, что человек на свободе может покончить с этим "двойничеством". Такова фабула романа. Скажем несколько слов о его форме. Роман написан прозрачными словесными красками, которые составляют контраст стремительному скоростному темпу развития действия. В Ржевском сочетаются и художник слова и психолог. В целом надо признать этот его роман удавшимся и интересным.

Вяч. Завалишин

Д. Л. ГОЛИНКОВ. КРУШЕНИЕ АНТИСОВЕТСКОГО ПОДПОЛЬЯ В СССР. В двух книгах 335 и 398 стр. Издание 2-е, исправленное и дополненное. Москва, Политиздат, 1978.

Чекистская литература занимает некое почетное место в литературе социалистического реализма. Именно она ярче всего и отражает подлинную "социалистическую" действительность и свидетельствует о том, что советская власть утвердилась в нашей стране после долгой,

напряженной борьбы со всеми слоями населения. Об этом ясно и весьма подробно повествует труд Давида Львовича Голинкова. Автор — не новичок в чекистской литературе: в обширной библиографии, занимающей 17 страниц убористого шрифта, отмечено 12 его предыдущих произведений на чекистские темы.

“Крушение антисоветского подполья в СССР” представляет собой своеобразную энциклопедию жестокой, кровавой борьбы большевиков за свое утверждение. Книга охватывает период с 25 октября 1917 по 1929 год.

В предисловии Голинков подчеркивает необходимость борьбы против “буржуазных фальсификаторов истории советского общества” и пытается опровергнуть “клеветнические слухи о ‘жестокости’ советской власти, об ужасах ‘чрезвычайки’”.

Но шила в мешке не утаишь. Вопреки автору, террористическое лицо советской власти выпирает из его книги. Замалчивание невыгодных для тезиса автора моментов начинается с убийства последнего Верховного главнокомандующего русскими армиями генерала Н.Н. Духонина. “В Могилев были посланы революционные войска для ликвидации контрреволюционной Ставки. В Могилев выехал и новый главковерх Н.В. Крыленко”. И это всё — ни слова об — “отправить в штаб Духонина”! Молчит автор и о разгоне Учредительного Собрания.

Вторая глава первой книги посвящена образованию ВЧК и роли Ленина и Дзержинского в этом деле. Уже первые действия ЧеКа никак не подтверждают “гуманизма и демократичности советских учреждений”, об этом же говорит и факсимиле постановления Совета народных комиссаров “О красном терроре” от 5 сентября 1918 года.

“Борьба с контрреволюционной прессой”, “ликвидация саботажа” правительственных служащих, “левозсеровский мятеж”, “крах савинковского Союза Защиты Родины и Свободы”, “заговор трех послдов”, подавление восстаний рабочих Ижевского и Воткинского заводов и матросов Кронштадта, борьба против белых армий — “калединщины”, “деникинщины”, “врангелевщины”, борьба с заговорами разных, по большей части неудачных конспираторов — это далеко не полный перечень событий, отмеченных Голинковым. И всё это шло под знаком *массового красного террора*.

“Гуманизм” чекистов Голинков опровергает их же собственными писаниями: “Некоторые чекисты высказывали мнение о нецелесообразности строгой правовой регламентации деятельности ЧК. В

изданном 1 ноября 1918 г. в Казани журнале 'Красный террор' — органе чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией на Восточном фронте — М.Я. Лаисс давал такие указания местным органам ЧК: "Не ищите в деле обвинительных улик; восстал ли он против Совета с оружием в руках или на словах. Первым долгом вы должны спросить, к какому классу он принадлежит, какого он происхождения, какое у него образование и какова его профессия. Вот эти вопросы и должны разрешить судьбу обвиняемого". Тот же Лаисс весной 1919 года был послан Лениным на Украину, где, по словам никого другого, а Каменева: "Чека принесла уйму зла".

Во второй книге Голиков пишет о "борьбе народа с внутренней контрреволюцией в 1920-1929 гг." К 1920 году оставался еще не занятым Крым, оборонявшийся армией генерала Врангеля. Приказ о земле, изданный правительством Врангеля 25 мая 1920 года, встревожил Ленина. Отмечая этот приказ, Голиков обходит молчанием его сердцевину — отчуждение всех казенных, Государственного земельного банка и помещичьих земель с передачей их крестьянам в вечную, наследственную собственность. Земельный вопрос был ахиллесовой пятой большевизма. Если бы такой приказ был издан генералом Деникиным в 1918 году, может быть, история России пошла бы по-другому.

Победив белые армии, Ленин и его сподвижники столкнулись с крестьянской стихией, не признавшей коллективистических устремлений советской власти. Наиболее известно Антоновское восстание в Тамбовщине, жестоко подавленное войсками Тухачевского и Уборевича и чекистами уполномоченного ВЧК Я. Б. Левина, применявшими подлые провокационные приемы. Но Голиков перечисляет и другие восстания, мало или совсем неизвестные за пределами СССР: "мятеж изменника Сапожкова", охвативший летом 1920 года Новоузенский, Бузулукский, Самарский и Пугачевский уезды; восстание "изменника" Вакулина в Саратовской губернии и Усть-Медведицком округе Донской области; "кулацкие выступления" на Дону, в Астраханской губернии, Калмыкии, в Ставропольской губернии и другие крестьянские восстания. По свидетельству Голикова, в сентябре 1921 года на Кубани образовалось подпольное Кубанское временное правительство, сформировавшее повстанческую армию, чуть-чуть не взявшую Екатеринодар. Части 1-й конной армии жестоко расправились с восставшими, а руководители повстанцев Савицкий, Пилюк и другие были "преданы суду", т.е. расстреляны. В 1921 году в калмыцких степях "была

раздавлена банда Маслака”, тоже “изменника”, бывшего командира бригады в конной армии Буденного. Большое место уделяет Голиков “кулацкому мятежу” в Западной Сибири — в Тюменской, Омской, Челябинской и Екатеринбургской губерниях. И это восстание было потоплено в крови, как и “контрреволюция в Семиречье” — восстание казаков и “кулаков-переселенцев” с присоединением к восставшим гарнизона в Верном (ныне Алма-Ата).

Большое место в книге Голикова отводится борьбе с враждебными большевизму политическими партиями и организациями как внутри страны, так и за ее пределами: расправа с правыми и левыми эсерами, с меньшевиками, с объявлением заложниками эсеров группы Савинкова и Чернова и захваченных в плен “врангелевцев”. В “работу” ВЧК входили такие дела, как борьба с басмачеством в Закаспии, “махновщина”, “дутовщина”, “анненковщина” и т.д. Показательный суд над членами Крестьянской трудовой партии, “Шахтинское дело” 1928 года и дело “Промпартии” тоже нашли свое отражение в книге Голикова.

Борьба с активными кругами русской эмиграции отмечена повествованиями о поимке Б. Савинкова и С. Рейли, о деятельности “Треста”, о показательном суде в Ленинграде над захваченными боевиками генерала Кутепова. Известный чекист Эдуард Опперпут назван “членом кутеповской организации” — с умолчанием, однако, о его судьбе после предотвращения взрыва в общежитии чекистов на Лубянке.

Итак, страна в целом, как явствует из отчетной чекистской книги, оказывала большевизму многолетнее упорное сопротивление, подавлявшееся чекистами самым бесчеловечным образом. Борьба с большевизмом была делом в подлинном смысле всенародным. Книга Голикова — полезный для историков справочник о той борьбе, которую вел народ за свою свободу от ярма большевизма.

Б. Прянишников

АЛЕКСАНДР БАХРАХ. БУНИН В ХАЛАТЕ. По памяти, по записям. Товарищество зарубежных писателей. 1979 (175 стр.)

Воспоминания А.В. Бахраха явно последнее и очень правдивое, живое свидетельство о Бунине. Они познакомились еще в 1923 г. в Париже, но

близкое знакомство, дружба возникли позднее, когда А. В. Бахрах, демобилизованный из французской армии, поселился у Буниных в Грассе, на вилле "Жаннетт", и жил там в годы немецкой и итальянской оккупации. Все они тогда голодали и часто приходили в отчаяние. Название книги может показаться сенсационно-газетным, но оно фактически точное. Бахрах постоянно видел И. А., облеченного в потрепанный халат мышиного цвета. Семейная жизнь Бунина была сложная. Так, он очень не ладил с жившим у него Леонидом Зуровым, которого в начале 30-х годов сам выписал из Риги. Бунину тогда очень понравилась его книга *Кадеты*. Зуров прежде на Бунина "молился". Позднее — преклонение перешло в ненависть, но И. А. не мог его удалить из-за привязанности к нему жены — Веры Николаевны: для неё "Лена" стал как бы сыном. О В. Н. Бахрах пишет: она всё отдала мужу, но иногда, при всей своей скромности, сетовала, что добровольно отказалась от своего пути в жизни, а была ведь очень даровита — и духовно, и словесно. Но, вспоминая о ее церковности, Бахраху не следовало бы называть евхаристию "церемонией", и явно религиозность В.Н. не была только обрядовой.

Бахрах Бунина не идеализирует, но по-настоящему любит, и его Иван Алексеевич — во всех своих противоречиях — живой и всегда даровитый. Он и актер, бесподобно имитировавший братьев-писателей (недаром Станиславский звал его в Художественный театр). Бунин всегда метко наблюдателен: по каким-то синим жилкам на ногах мог выдумать биографию незнакомой женщины. Он и любитель крепкого словца, ругатель, но по существу никому зла нежелавший и даже застенчивый, что не отмечалось в других воспоминаниях. Известно "донжуанство" Бунина, но, как он признавался Бахраху: из-за застенчивости — неудач в любви у него было больше, чем удач. Интересны устные рассказы И. А.: хотя бы о встрече с красавицей грузинского типа с *сиреневым* отливом тела (только Бунин мог найти такое определение...).

Никак нельзя назвать Бунина "циником", хотя иногда он очень грубо говорил о всяком сексе. Но в то же время говорил Бахраху: в "любовном акте" есть нечто божественное, таинственное... Это неожиданно сближает его с В.В. Розановым. Бахрах приводит рассказ о нем Бунина — со слов директора елецкой гимназии, где И.А. учился, но уже не застал там Розанова. Этот анекдот дает живой штрих для современной разрастающейся (и еще "подпольной" в России)

Розановианы. Существенно, что Бунин ценил и Леонтьева. Об этом тоже узнаем от Бахраха. О выпадах Бунина против Достоевского, а также против символистов уже известно по его собственным рассказам и по воспоминаниям Г. Н. Кузнецовой, как и о его положительных оценках позабытых прозаиков Шеллера, Терпигорева, Златовратского, Боборыкина, но и здесь Бахрах сообщает много нового. Как известно, дружба Бунина с Горьким перешла во вражду, да и в юности И.А. отталкивала тенденциозность, нехудожественность Горького (в *Песне о соколе*, и в прославленной драме *На дне*). Бахрах разоблачает тот вздор, который городят советские критики об их близости. Несколько изумительных страниц в книге посвящены вечерним прогулкам с И.А. и разговорам с глазу на глаз. Вот Бунин залюбовался полетом средиземноморских светлячков и вдруг "переходит" на Толстого, о котором никогда не мог наговориться, о его — родственном ему ужасе перед лицом смерти, или восхищается забытым рассказом брата Л. Н. — Николая Николаевича.

Два эпизода о встрече Бунина с молодым вел. князем Николаем Николаевичем на вокзале (в 1891 г.) и уже с мертвым — на панихиде (в 1929 г.) кажутся Бахраху без достаточного основания вкрапленными в *Жизнь Арсеньева*. Но здесь случайности нет. Бунин монархистом не был, но у него было чувство Российской империи. К тому же эти эпизоды перерастают всякий монархизм: здесь контраст юной мужественности великолепного красавца Романова и победы над ним смерти.

В ноябре 1953 г. И.А. сказал Бахраху: он начисто отрицает возможность загробной жизни, и никогда не может примириться с всё обесмысливающей смертью. Это тоже известно. Но нельзя писать о Буине без упоминания о его страстном неприятии смерти (столь же страстном, как у Толстого, Розанова, Анненского). Бахрах посетил И. А. в день его смерти. Уже слабым голосом он опять говорил об обожаемом им Толстом, но с укором вспомнил о толстовском кощунстве над литургическом таинством (в *Воскресении*). Он шептал: Как он мог (так написать)? А сам был или будто бы был неверующим, но и написал лучший (по собственному признанию) рассказ *Чистый понедельник* — о неожиданном постриге прекрасной москвички (в этой изумительной повести переработаны столь разные мотивы — тургеневского *Дворянского гнезда* и *Вешних вод*).

В те мрачные, голодные годы Бунин писал рассказы, вошедшие в

сборник *Темные аллеи*, и Бахрах приводит комментарии И. А. к этим рассказам. Вспоминает он и о двух визитах к Бунину Андре Жида, который очень его ценил: правда, преимущественно *Деревню* (которой Бунин совсем не гордился). Жид старался чем мог помочь И.А. Пытался устроить переводы его рассказов на французский язык, но, увы, неудачно. Еще Бахрах подчеркивает: Бунин никогда не собирался перекочевывать в СССР, куда его, после окончания войны, усиленно зазывали. К книге приложены два интервью с Буниным (им самим написанные!) и его письма к Бахраху.

Правдивое живое свидетельство Бахраха о Бунине, несомненно, будет оценено и в России, и на Западе.

Юрий Иваск

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

под редакцией
РОМАНА ГУЛЯ

■
В 1980 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ

■
Подписная цена на 1980 год 24 доллара
(за 4 книги)

Цена одной книги — 7 долларов
Во Франции — 25 франков

■
ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ
«НОВОГО ЖУРНАЛА»

THE NEW REVIEW, 2700 BROADWAY
NEW YORK, N.Y. 10025

Телефон редакции и конторы: 666-1692

Прием по делам редакции и конторы — ежедневно, кроме
праздников и суббот, от 10-ти до 12-ти час. дня
